

РАСУЛ
ГАМЗАТОВ

МОЙ ДАГЕСТАН

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

В глубине дагестанских гор, на краю широкой поляны приютился аварский аул Цада. В этом ауле есть сакля, которая внешне ничем не выделяется из своих соседок справа и слева: та же плоская крыша, тот же каменный каток на крыше, такие же ворота, такой же дворик. Но из этой маленькой сакли, из этого жесткого, в общем-то, горного гнезда, вылетели в просторный мир два поэтических имени. Первое из них — имя народного поэта Дагестана Гамзата Цадаса, второе — народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

Нет ничего удивительного в том, что мальчик, растущий в семье старого горского поэта, полюбил поэзию и даже сам стал писать стихи. Однако сын поэта, сделавшись поэтом, далеко раздвинул пределы известности или—скажем более громко — славы своего отца. Самое далекое путешествие, которое совершил в своей жизни старый Гамзат, было путешествие из Дагестана в Москву. Расул Гамзатов как полпред многонациональной советской культуры побывал едва ли не во всех странах мира.

Внешне его биография не отличается острым сюжетом. Расул Гамзатов родился в 1923 году в ауле Цада Дагестанской АССР. Учился в аранинской средней школе, в Аварском педагогическом училище в Буйнакске. Был учителем, работал в Аварском театре, сотрудничал в республиканской газете. Первые стихи опубликовал в 1937 году.

Переломным моментом в творческой судьбе Расула Гамзатова надо считать поступление в московский Литературный институт. Здесь он обрел не только учителей в лице крупнейших московских поэтов, но и друзей, сотоварищей по искусству. Здесь же он нашел первых переводчиков или, может быть, вернее, переводчики нашли его. Здесь его аварские стихи стали фактом также и русской поэзии.

С тех пор у Расула Гамзатова и в Махачкале на родном языке и в Москве вышло около сорока поэтических сборников. Имя его теперь широко известно, ему присуждена Ленинская премия и звание народного поэта Дагестана, его стихи зазвучали на многих языках мира.

И вот Расул Гамзатов написал первую книгу в прозе. Можно было заранее предположить, что талант Расула и здесь проявится во всем своеобразии и его проза не будет похожа на обычные романы и повести. Так оно и вышло на самом деле. Тем не менее особенность этой прозы требует некоторого пояснения.

Расул Гамзатов пишет как бы предисловие к своей будущей книге. Он рассказывает, какой должна быть эта книга, в каком жанре ее писать, как она будет называться, каковы должны быть язык, стиль, образная система и, наконец, содержание книги. Иной читатель мог бы недоуменно спросить, прочтя написанное Гамзатовым: „Позвольте, это предисловие, а где же сама книга?!" Но в этом случае читатель был бы неправ. Нетрудно заметить, что рассуждения о будущей книге есть не что иное, как литературный прием. Постепенно, незаметно „предисловие" к книге перерастает в самостоятельную, богатую содержанием законченную книгу о родине, об отношении к ней любящего сына, об интересной и трудной должности поэта, о не менее интересной и не менее трудной должности гражданина.

Книга автобиографична. В какой-то мере она имеет исповедальный характер. Она искренна. Она поэтична. Она освещена мягким авторским юмором и, я бы сказал, лукавством. Одним словом, она как две капли воды похожа на своего автора Расула Гамзатова. Недаром одна из статей об этой книге, напечатанная в центральной газете, называлась „Предисловие к жизни".

Читатель найдет в книге „Мой Дагестан" множество аварских пословиц и поговорок, то смешные, то грустные истории, либо пережитые самим автором, либо сохранившиеся в сокровищнице народной памяти, зрелые размышления о жизни, об искусстве. В книге много доброты, любви к людям, к отечеству.

Сам Расул Гамзатов, говоря о своем творчестве и обращаясь к читателям, пишет так: „Есть люди с печальными, мрачными воспоминаниями о прошлом. У таких людей обычно такие же мрачные представления бывают о настоящем и будущем. Есть люди со светлыми, солнечными воспоминаниями о прошлом. В их мыслях солнечное настоящее и будущее. У третьих воспоминания и радостные и печальные, и солнечные и мрачные. В их думах о настоящем и о будущем смешаны разные чувства, мысли, мелодии и краски. Я отношусь к третьим.

Не всегда гладко шли мои дороги, не всегда легкими были мои годы. Так же как и ты, мой современник, я жил в середине века, в центре мира, в круговороте больших событий. Каждое потрясение — это, можно сказать, сердцетрясение для писателя. Печаль и радость событий не должны проходить мимо художника. Они не следы на снегу, а резьба на камне. И вот я, собрав воедино все свои свидетельства о времени прошлом и мысли о будущем, иду к тебе, стучу в твою дверь и говорю: мой добрый друг, это я. Разреши войти".

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН



ОСНОВАНА В 1927 г.

№ 14 (612)
1968



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

МОЙ ДАГЕСТАН

> Путник, если мнмо пройдешь мой дом,
> Град н гром на тебя, град и гром!
> Гость, еслн будешь сакле моей не рад,
> Гром н град на меня, гром н град![1]
>
> Надпнсь на дверях

> Если ты выстрелишь в прошлое из пнстолета, будущее выстрелит в тебя из пушкн.
>
> Абуталиб сказал

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. О ПРЕДИСЛОВИЯХ ВООБЩЕ

> Когда проснешься, не вскакнвай с постелн, словно ужаленный. Сначала подумай над тем, что тебе приснилось.

Я думаю, что сам аллах, прежде чем рассказать своим приближенным какую-нибудь забавную историю или высказать очередное нравоучение, тоже сначала закурит, неторопливо затянется и подумает.

Самолет, прежде чем взлететь, долго шумит, потом его везут через весь аэродром на взлетную дорожку, потом он шумит еще сильнее, потом разбегается и, только проделав все это, взлетает в воздух.

Вертолету не нужно разбегаться, но и он долго шумит, грохочет, дрожит мелкой, напряженной дрожью, прежде чем оторвется от земли.

Лишь горный орел взмывает со скалы сразу в синее небо и легко парит, подымаясь все выше, превращаясь в незаметную точку.

У всякой хорошей книги должно быть такое вот начало, без длинных оговорок, без

[1] Стнхи, переводчик которых не указан в тексте этой книги, переведены с аварского Вл. Солоухиным.

скучного предисловия. Ведь если быка, пробегающего мимо, не успеешь схватить за рога и удержать, то за хвост его уже не удержишь.

Вот певец взял в руки пандур. Я знаю, что у певца хороший голос, так зачем же он так долго и бездумно бренчит, прежде чем начать песню? То же самое скажу о докладе перед концертом, о лекции перед началом спектакля, о нудных поучениях, которыми тесть угощает зятя, вместо того чтобы сразу позвать к столу и налить чарку.

Однажды мюриды расхвастались друг перед другом своими саблями. Они говорили о том, из какой прекрасной стали их сабли сделаны и какие прекрасные стихи из Корана начертаны на них. Среди мюридов оказался Хаджи-Мурат — наиб великого Шамиля. Он сказал:

— О чем вы спорите в прохладной тени чинары? Завтра на рассвете будет битва, и ваши сабли сами решат, которая из них лучше.

И ВСЕ ЖЕ, я думаю, что аллах неторопливо закуривает, прежде чем начать свой рассказ.

И ВСЕ ЖЕ, в моих горах есть обычай — всадник не вскакивает в седло около порога сакли. Он должен вывести коня из аула. Наверно, это нужно, чтобы еще раз подумать о том, что он оставляет здесь и что ожидает его в пути. Как бы ни подгоняли дела, неторопливо, раздумчиво проведет он коня в поводу через весь аул и только потом уж, едва коснувшись стремени, взлетит в седло, пригнется к луке и растает в облачке дорожной пыли.

Вот и я, прежде чем вскочить в седло моей книги, медленно иду в раздумье. Я веду коня в поводу и сам иду рядом с ним. Я думаю. Я медлю произнести слово.

Слово может задержаться на языке не только у человека, который заикается, но и у того, кто ищет наиболее подходящее, наиболее нужное, наиболее мудрое слово. Я не надеюсь поразить мудростью, но я и не заика. Я ищу слово и потому запинаюсь на нем.

АБУТАЛИБ СКАЗАЛ. Предисловие к книге — это та же соломинка, которую суеверная горянка держит в зубах, латая мужу тулуп. Ведь если не держать в это время соломинку в зубах, тулуп, согласно поверью, может обернуться саваном.

АБУТАЛИБ ЕЩЕ СКАЗАЛ. Я похож на человека, который бродит впотьмах, ища дверь, куда бы войти, или на человека, который уже нашарил дверь, но не знает еще, можно ли и стоит ли в нее входить. Он стучится: тук-тук, тук-тук.

— Эй там, за дверью, если вы собираетесь мясо варить, то пора вставать!

— Эй там, за дверью, если вы собираетесь толокно толочь, спите себе на здоровье, спешить не надо!

— Эй там, за дверью, если вы собираетесь пить бузу, не забудьте позвать соседа!

Тук-тук, тук-тук.

— Так что же, заходить мне или вы обойдетесь без меня?

Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами.

Мне не два и не шестьдесят. Я на середине пути. Но все же я, видимо, ближе ко второй точке, потому что несказанное слово мне дороже всех уже сказанных слов.

Книга, не написанная мною, дороже всех уже написанных книг. Она самая дорогая, самая заветная, самая трудная.

Новая книга — это ущелье, в которое я никогда не заходил, но которое уже расступается передо мной, маня в туманную даль. Новая книга — это конь, которого я еще никогда не седлал, кинжал, которого я еще не вытаскивал из ножен.

Горцы говорят: «Не вынимай кинжал без надобности. А если вынул — бей! Бей так, чтобы сразу убить наповал и всадника и коня».

Вы правы, горцы!

И ВСЕ ЖЕ. Прежде чем обнажить кинжал, вы должны быть уверены, что он хорошо заточен.

Книга моя, долгие годы ты жила во мне! Ты как та женщина, как та возлюбленная, которую видишь издали, о которой мечтаешь, но к которой не приходилось прикоснуться. Иногда случалось, что она стояла совсем близко — стоило протянуть руку, но я робел, смущался, краснел и отходил подальше.

Но теперь — кончено. Я решился смело подойти и взять ее за руку. Из робкого влюбленного я хочу превратиться в дерзкого и опытного мужчину. Я седлаю коня, я трижды ударяю его плетью — будь что будет!

И ВСЕ ЖЕ, сначала я сыплю горский наш самосад на квадратик бумаги, я неторопливо скручиваю самокрутку. Если так сладко скручивать ее, каково же будет курение!

Книга моя, прежде чем тебя начать, я хочу рассказать, как ты прозревала во мне. И как я нашел для тебя название. И зачем я тебя пишу. И какие цели у меня в жизни.

Гостя впускаю на кухню, где еще разделывается баранья туша и пахнет пока не шашлыком, а кровью, и теплым мясом, и парной овчиной.

Друзей я ввожу в заветную рабочую комнату, где лежат мои рукописи, и разрешаю копаться в них.

ХОТЯ МОЙ ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Тот, кто копается в чужих рукописях, подобен шарящему в чужих карманах.

ЕЩЕ ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Предисловие напоминает человека с широкой спиной, к тому же в большой папахе, сидящего в театре впереди меня. Хорошо еще, если он сидит прямо, а не клонится то вправо, то влево. Как зрителю мне такой человек приносит большие неудобства и вызывает в конце концов раздражение.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Мне часто приходится выступать на поэтических вечерах в Москве или других городах России. Люди в зале не знают аварского. Сначала кое-как, с акцентом я рассказываю о себе. Потом друзья, русские поэты, читают переводы моих стихов. Но прежде чем они начнут, меня обычно просят прочитать одно стихотворение на родном языке: «Мы хотим услышать музыку аварского языка и музыку стихотворения». Я читаю, и мое чтение не что иное, как бренчание на струнах пандура перед началом песни.

Не таково ли и предисловие к книге?

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Когда я был московским студентом, отец прислал мне денег на зимнее пальто. Получилось так, что деньги я истратил, а пальто не купил. На зимние каникулы в Дагестан пришлось ехать в том же, в чем уехал летом в Москву.

Дома я стал оправдываться перед отцом, на ходу сочиняя всякие небылицы, одну нелепее и беспомощнее другой. Когда я окончательно запутался, отец перебил меня, сказав:

— Остановись, Расул. Я хочу задать тебе два вопроса.

— Задавай.

— Пальто купил?

— Не купил.

— Деньги истратил?

— Истратил.

— Ну вот, теперь все понятно. Зачем же ты наговорил столько бесполезных слов, зачем сочинил такое длинное предисловие, если суть выражается в двух словах?

Так учил меня мой отец.

И ВСЕ ЖЕ, ребенок, родившийся на свет, не сразу начинает говорить. Прежде чем произнести слово, он бормочет что-то невнятное. И бывает, когда он плачет от боли, даже родной матери трудно узнать, что у него болит.

Но разве душа поэта не схожа с душой ребенка?

ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Когда люди ждут появления с гор отары овец, сначала они видят рога козла, всегда идущего впереди, потом всего козла, а потом уж саму отару.

Когда люди ждут появления свадебной или похоронной процессии, сначала они видят гонца.

Когда люди ждут в аул гонца, сначала они видят облачко пыли, потом лошадь, а потом всадника.

Когда люди ждут возвращения охотника, они видят сначала его собаку.

О ТОМ, КАК ЗАРОДИЛАСЬ ЭТА КНИГА, И О ТОМ, ГДЕ ОНА ПИСАЛАСЬ

И маленькие дети
видят большие сны.

Надпись на колыбели

Оружие, которое понадобится один раз, нужно носить всю жизнь.

Стихи, которые будешь повторять всю жизнь, пишутся за один раз.

Над весенним аулом пролетала весенняя птица. Думала, где бы отдохнуть. Увидела крышу сакли, широкую, плоскую, чистую. На крыше — каменный каток. Спустилась птица со своего поднебесья и села на катке отдохнуть. Проворная горянка поймала птицу и унесла ее в саклю. Птица увидела, что все в доме относятся к ней хорошо, и осталась здесь жить. Она свила себе гнездо на подкове, вколоченной в старую закоптелую балку.

Не так ли и моя книга?

Сколько раз я взглядывал из своего поэтического поднебесья вниз, на равнину прозы, отыскивая, куда бы сесть, отдохнуть...

Нет, лучше здесь сравнение с самолетом, которому нужно спуститься на аэродром. Вот уж я делаю круг, чтобы зайти на посадку. Но аэродром из-за плохой погоды отказывается меня принять. С широкого круга я снова перехожу на прямую линию полета и лечу дальше, а желанная земля снова остается внизу... Так было не один раз.

Значит, думал я, не суждена мне твердая бетонная опора. Значит, моим ногам суждено безостановочно идти по земле, моим глазам — без отдыха оглядывать новые места на планете, моему сердцу — без отдыха рождать новые песни.

Как пахарь, залюбовавшийся проплывающим мимо облаком либо пролетающим журавлиным клином, снова, стряхнув с себя очарование, с еще большим усердием налегает на

ручки плуга, так и я садился опять за поэму, оставленную на середине.

Да, моя поэзия, сколько бы я ни сравнивал ее с поднебесьем, была для меня моей нивой, моей пашней, моим тяжелым трудом. Прозы я не писал совсем.

И вот однажды я получил пакет. В пакете — письмо от редактора одного уважаемого мною журнала. Впрочем, редактора я уважаю тоже. Да и редактор начинал письмо со слов «уважаемый Расул». В общем, сплошное взаимное глубокое уважение.

Когда я развернул письмо, оно показалось мне с буйволиную шкуру, которую горцы расстилают на кровле сакли, чтобы хорошенько высушить. И страницы, когда я их перебирал, гремели не хуже буйволиной шкуры, когда она уже высохла и ее складывают вчетверо, чтобы нести в саклю. Не было только резкого, щиплющего в носу запаха шкуры. Письмо не пахло ничем.

Редактор, между прочим, писал: «Наша редакция решила опубликовать в ближайших номерах журнала материал о достижениях, о добрых делах, о трудовых буднях Дагестана. Пусть это будет рассказ о простых тружениках, о их подвигах, о их чаяниях. Пусть это будет рассказ о светлом «завтра» твоего горного края и о его вековых традициях, но главным образом — о его замечательном «сегодня». Мы решили, что такой материал лучше всех можешь написать ты. Жанр — по твоему усмотрению: рассказ, статья, очерк, ряд зарисовок. Объем материала 9—10 машинописных страниц. Срок 20—25 дней. Надеемся и заранее благодарим...»

Когда-то, выдавая девушку замуж, не спрашивали ее согласия, но просто, как бы теперь сказали, ставили ее перед фактом. Говорили, что все решено. Но даже в те времена у нас в горах никто не посмел бы сыграть свадьбу своего сына без его согласия. На это, говорят, решился однажды некий гидатлинец. Но разве мой уважаемый редактор журнала из аула Гидатли? Он все решил за меня... Но решил ли я рассказать о моем Дагестане на девяти страничках в двадцатидневный срок?

В сердцах отбросил я подальше оскорбительное для меня письмо. Через некоторое время мой телефон начал звонить так настойчиво, словно это был не телефон, а курица, только что снесшая яйцо. Ну, конечно, это был звонок из редакции журнала.

— Здравствуй, Расул! Получил наше письмо?

— Получил.

— А где же материал?

— Да я... Дела... Все как-то некогда.

— Ну что ты, Расул! Не может быть и речи. Ведь тираж нашего журнала почти миллион. Его читают и за границей. Но если ты действительно очень занят, мы пришлем к тебе человека. Ты ему кинешь несколько мыслей и деталей, остальное он сделает сам. Прочитаешь, подкорректируешь, поставишь свое имя. Нам главное — чтобы имя.

— Пусть переломаются все кости у того, кто не любит гостей! Если кто встретит гостя с недовольным видом иль нахмуренным лбом, пусть в доме у него не будет ни старших, которые могли бы давать мудрые советы, ни младших, которые эти советы слушали бы! Так смотрим мы на гостей. Но ради бога, не посылайте ко мне Салихалова[1]. Свой бубен я настрою и без него. И ручку к своему кувшину приделаю сам. Если будет зудеть спина, никто не почешет мне ее лучше, чем я сам.

На этом закончились наши переговоры. Васалам, вакалам![2] Я взял отпуск на месяц и поехал в родной аул Цада.

Цада!.. Семьдесят теплых очагов. Семьдесят голубых дымков, поднимающихся в чистое высокогорное небо. Белые сакли на черной земле. Перед аулом, перед белыми саклями — зеленые плоские поля. Позади аула поднимаются скалы. Серые утесы столпились над нашим аулом, словно дети, собравшиеся на плоской кровле, чтобы смотреть вниз на свадебный двор.

Приехав в аул Цада, я вспомнил письмо, которое прислал нам отец, впервые увидевший Москву. Трудно было угадать, где отец шутит, а где говорит всерьез. Он удивлялся Москве:

«Похоже на то, что здесь, в Москве, не разводят огня в очагах, чтобы приготовить пищу, ибо я не вижу женщин, которые лепили бы кизяк на стены своих жилищ, не вижу над крышами дыма, похожего на большую папаху Абуталиба. Не вижу я и катков для укатывания кровель. Не вижу, чтобы москвичи сушили сено на крышах. Но если они не сушат сена, то чем же кормят своих коров? Не увидел я ни одной женщины, бредущей с вязанкой хвороста или травы. Не услышал я ни разу пения зурны или удара в бубен. Можно подумать, что юноши здесь не женятся и не играют свадеб. Сколько я ни ходил по улицам этого странного города, ни разу не увидел ни одного барана. Но спрашивается, что же режут москвичи, когда порог переступит гость? Чем же, если

---

[1] Когда аварцы хотят сказать, что дело хорошо налажено, они говорят: «Как бубен у Салихалова». Вероятно, это соответствует поговорке: «Дело в шляпе».

[2] Мир дому твоему. Разговору конец.

ие зарезанным бараном, отмечают они приход кунака? Нет, я не завидую этой жизни. Я хочу жить в своем ауле Цада, где можно вволю поесть хинкалов, сказав жене, чтобы она побольше положила в них чесноку...»

Много и других недостатков нашел мой отец в Москве, сравнивая ее с родным аулом. Он, конечно, шутил, когда удивлялся, что дома в Москве не залеплены кизяком, но он не шутил, когда великому городу предпочитал маленький свой аул. Он любил свой Цада и не променял бы его на все столицы планеты.

Дорогой мой Цада! Вот я и приехал к тебе из того огромного мира, в котором еще мой отец подметил так много «недостатков». Я объездил его, этот мир, и увидел много диковинного. Мои глаза разбегались от обилия красоты, не зная, на чем остановиться. Они перескакивали с одного прекрасного храма на другой, с одного прекрасного человеческого лица на другое, но я знал, что, как бы ни было прекрасно то, что я вижу сейчас, завтра я увижу нечто еще более прекрасное... Миру, видишь ли, нет конца.

Пусть простят меня пагоды Индии, пирамиды Египта, базилики Италии, пусть простят меня автострады Америки, бульвары Парижа, парки Англии, горы Швейцарии, пусть простят меня женщины Польши, Японии, Рима — я любовался вами, но сердце мое билось спокойно, а если и учащалось его биение, то не настолько, чтобы пересыхало во рту и кружилась голова.

Отчего же сейчас, когда я снова увидел эти семьдесят саклей, приютившихся у подножия скал, сердце мое раскачалось в груди так, что больно ребрам, в глазах моих затуманилось и голова закружилась, будто я болен или пьян?

Неужели маленький дагестанский аул прекраснее Венеции, Каира или Калькутты? Неужели аварка, бредущая по тропинке с вязанкой дров, прекраснее высокорослой белокурой скандинавки?

Цада! Я брожу по твоим полям, и утренняя холодная роса омывает мои усталые ноги. Даже не в горных ручьях, а в родниках умываю я свое лицо. Говорят, если уж пить, то пить из источника. Говорят также — и мой отец это говорил, — что мужчина может встать на колени только в двух случаях: чтобы напиться из родника и чтобы сорвать цветок. Ты, Цада, мой родник. Становлюсь на колени, припадаю губами и жадно пью из тебя.

Увижу камень — и словно прозрачная тень на нем. Это я сам, каким был тридцать лет назад. Сижу на камне и пасу овец. На мне лохматая папаха, в руках длинная палка, на ногах пыль.

Увижу тропинку — и словно прозрачная тень на ней. Это тоже я, каким был тридцать лет назад. Зачем-то пошел в соседний аул. Наверно, меня послал отец.

На каждом шагу я встречаюсь с самим собой, со своим детством, со своими веснами, дождями, цветами, опадающими осенними листьями.

Я раздеваюсь и подставляю свое тело под искрящийся водопад. Поток, прыгая с уступа на уступ со скалы, разбивается вдребезги восемь раз, и собирается вновь, и наконец разбивается о мои плечи, о мои руки, о мою голову. Душ в парижской гостинице «Королевский дворец» — жалкая пластмассовая игрушка по сравнению с моими прохладными водопадами.

Между теплыми камнями нагревается за день вода, втекающая сюда боковой струйкой из горной речки. Голубоватая ванна в лондонской гостинице «Метрополь» — жалкая тарелка по сравнению с моими горными ваннами.

Да, я люблю ходить по большим городам пешком. Но все же после пяти-шести продолжительных прогулок город начинает казаться знакомым и желание бесконечно бродить по нему притупляется.

Но вот уже в тысячный раз я иду по улочкам своего аула, и нет сытости, и нет желания перестать по нему идти.

В этот приезд я побывал в каждом доме. У каждого очага, где горит огонь, где теплые угли или где давно остывшая холодная зола, склонил я свою голову, тоже припорошенную холодной белой золой.

Я стоял над колыбелями, в которых барахтаются будущие горцы и горянки, или в которых тепло еще, хотя уже пусто, или в которых давно остыли одеяльца и подушки.

Над каждой колыбелью мне казалось, что это я сам в ней лежу и все у меня еще впереди: и горные тропинки, и широкие дороги России, и автострады, аэродромы далеких стран.

Я баюкал детей, пел колыбельные песни, и дети мирно засыпали под мои немудреные песенки.

Бродил я также по цадинскому кладбищу, где старые, заросшие травой могилы соседствуют со свежими могилами, пахнущими землей.

Молчаливо сидел я в домах на траурных сходах, весело плясал на свадьбах. Услышал много слов и рассказов, которых до сих пор не приходилось слышать. Многое из того, что я знал и забыл, снова вспомнилось мне теперь, выплыло наверх из бездонных и темных глубин памяти...

Новое я видел своими глазами, о старом слушал, вспоминая, и думы мои были, как раз-

ноцветные нитки, обвивающие большое веретено. Я мысленно представлял уж себе тот многоцветный ковер, который можно соткать из этих ниток.

Еще вчера по птичьим гнездам лазил,
Друзей-мальчишек в скалы заманя,
Пришла любовь, строга и синеглаза,
И сразу взрослым сделала меня.

Еще вчера себя считал я взрослым,
Седым и мудрым до скончанья дней.
Пришла любовь и улыбнулась просто,
И снова я мальчишка перед ней.

Да, у меня не дописана поэма о любви. Он и Она. Он — это я. Но главная героиня — моя любовь. Надо бы дописать! Но у меня такое чувство, будто я получил тревожную телеграмму и должен бросить все, чтобы спешить на аэродром.

ИЛИ БЫВАЕТ ТАК, когда горянка рано утром разжигает огонь в очаге. Она собирается разогревать остатки вчерашнего обеда, которых достаточно, чтобы наелась вся семья. Но на пороге неожиданно появляется гость. Нужно снимать с огня кастрюлю со вчерашней едой, нужно готовить новое кушанье.

ИЛИ БЫВАЕТ ТАК, когда на свадьбе юноши садятся поближе к жениху, своему товарищу и ровеснику, но вдруг им приходится вставать и уступать место, потому что в комнату зашли люди постарше их.

ИЛИ БЫВАЕТ ТАК, когда в кунацкой сидят старейшины и тут же играют дети. И вдруг детей отсылают из кунацкой, потому что старейшины собираются держать важный совет.

Иногда мне кажется, что я охотник, рыболов, всадник: я охочусь за замыслами, ловлю их, седлаю и пришпориваю их. А иногда мне кажется, что я олень, лосось, конь и что, напротив, замыслы, раздумья, чувства ищут меня, ловят меня, седлают и управляют мной.

Да, мысли и чувства приходят, как гость в горах, без приглашения и без предупреждения. От них, как и от гостя, не спрячешься, не убежишь.

У нас в горах не бывает гостей маленьких или больших, важных или неважных. Самый маленький гость для нас важен, потому что он — гость. Самый маленький гость становится почетнее самого старшего хозяина. Не спрашивая, из каких он краев, мы встречаем гостя на пороге, ведем в передний угол поближе к огню, усаживаем на подушки.

Гость в горах всегда появляется неожиданно. Но он никогда не бывает неожиданным, никогда не застает нас врасплох, потому что гостя мы ждем всегда, каждый день, каждый час и каждую минуту.

Так же, как гость в горах, пришел ко мне замысел этой книги.

ИЛИ БЫВАЕТ ТАК, когда лениво, от нечего делать снимаешь со стены пандур, чтобы проверить, настроен он или нет, и начинаешь бренчать, но вдруг неожиданно приходит песня, бренчание перерастает в мелодию, и льются стройные звуки, и сам ты поешь, не замечая, как уходит ночь и наступает рассвет.

ИЛИ БЫВАЕТ ТАК, когда юноша пойдет в соседний аул по какому-нибудь пустяковому делу, а возвращается с женой, сидящей за седлом.

Дорогой редактор журнала! Я исполню просьбу, содержащуюся в вашем письме. Скоро я начну книгу о Дагестане. Но только простите меня — в срок, назначенный вами, я, наверно, не уложусь. Слишком много тропинок должен я пройти, а тропинки у нас в горах очень узки и круты.

Горы мои поблескивают вдали таинственно, как нешлифованные алмазы. Много простора моему скакуну. Он не хочет скакать в узкое ущелье, намеченное вами.

Не завернуть мне моего Дагестана и в ваши девять-десять страниц. Да и не суметь мне написать «материал о достижениях, о добрых делах, о трудовых буднях», «о простых тружениках, о их подвигах, о их чаяниях», «о светлом «завтра» горного края и о его вековых традициях, но главным образом о его замечательном «сегодня».

Мое маленькое перо не в силах удержать на себе столько груза. Капелька чернил на его конце не может вобрать в себя и большие плавные реки, и грохочущие горные потоки, и судьбы мира, и судьбу одного человека.

Большая птица — много крови, маленькая птица — мало крови. Какова птица — столько и крови.

ГОВОРЯТ. Случайно бросили косточку, случайно она упала на оленью голову, и вот выросли прекрасные оленьи рога.

ГОВОРЯТ. Если бы не было на свете Али, не появилось бы на свете Омара. Если бы не было на свете ночи, неоткуда было бы взяться утру.

ГОВОРЯТ:
— Где ты родился, орел?
— В тесном ущелье.
— Куда ты летишь, орел?
— В просторное небо.

О СМЫСЛЕ ЭТОЙ КНИГИ И О ЕЕ НАЗВАНИИ

О празднике он возвещать нам рад,
Но дремлет в нем и яростный набат.

Надпись на колоколе

Был храбрым отец, был правдивым отец до конца.
Здесь младенец спит, носящий имя отца.
Отцовский кинжал висит в его головах.
Подвиг отца — у колыбельной песни в словах.

Надпись на колыбели

Две вещи должен беречь горец: свою папаху и свое имя. Папаху сбережет тот, у кого под папахой есть голова. Имя сбережет тот, у кого в сердце — огонь.

В потолке нашей тесноватой сакли много следов от пуль. Друзья моего отца стреляли в потолок из пистолетов: орлы, гнездящиеся в окрестных горах, должны узнавать, что у них народился брат и что в Дагестане одним орлом стало больше.

Конечно, от выстрела, от пули не может родиться сын. Но всегда должна найтись пуля, чтобы отметить рождение сына.

Когда народился я и когда мне давали имя, друг моего отца выстрелил дважды: и в потолок и в пол.

Мать рассказывала о том, как мне давали имя. Я был в нашем доме третьим сыном. Была еще одна девочка, моя сестра, но мы говорим о мужчинах, о сыновьях.

Имя первенца знал весь аул задолго до его появления на свет, ибо, по обычаю, он должен получить имя своего покойного деда. Каждый житель аула помнит об этом, и все говорили: скоро в семье Гамзатов появится Магомет.

Во двор моего дедушки ни разу не заходило ни одно четвероногое животное, кроме разве собаки да кошки. Едва ли он когда-нибудь спал под одеялом, едва ли он знал, что такое нижнее белье. Ни один доктор в мире не мог бы похвастаться тем, что осматривал Магомета, заглядывал ему в рот, щупал пульс, заставлял дышать его то глубже, то реже и вообще видел его тело. Никто не знал также у нас в ауле точных дат его рождения и смерти. Если верить одному заявлению, написанному, чтобы очернить моего отца, дедушка Магомет немного знал по-арабски. Его-то имя и дал мой отец своему первенцу, моему старшему брату.

Был у моего отца еще дядя, который умер незадолго до рождения второго мальчика. Дядю звали Ахильчи.

— Вот и Ахильчи воскрес! — радостно говорили жители аула, когда народился в нашем доме второй мальчик. — Воскрес наш Ахильчи. Пусть будет к добру, а не к беде, если сядет ворона на его бедную саклю. Пусть мальчик вырастет таким же благородным человеком, каким был тот, чье имя ему досталось носить.

К тому времени, когда нужно было родиться мне, у отца не было уже в запасе ни родных, ни друзей, которые недавно умерли или пропали на чужой стороне и чье имя можно было мне передать, чтобы я нес его по земле с той же честью.

Когда родился я, отец, чтобы исполнить обряд наречения, пригласил в саклю самых почтенных людей аула. Они неторопливо и важно расселись в сакле, словно предстояло решать судьбу целой страны. В руках они держали по пузатенькому изделию балхарских гончаров. В кувшинах была, конечно, пенистая буза. Только у одного, самого старого человека с белоснежной головой и бородой, у старца, похожего на пророка, руки были свободны.

Этому-то старцу передала меня мать, выйдя из другой комнаты. Я барахтался на руках у старца, а мать между тем говорила:

— Ты пел на моей свадьбе, держа в руках то пандур, то бубен. Песни твои были хороши. Какую песню ты споешь сейчас, держа в руках моего младенца?

— О женщина! Песни ему будешь петь ты, мать, качая его колыбель. А потом песни ему пусть поют птицы, реки. Сабли и пули тоже пусть поют ему песни. Лучшую из песен пусть споет ему невеста.

— Тогда назови. Пусть я, мать, пусть весь аул и весь Дагестан услышат имя, которое ты сейчас назовешь.

Старец поднял меня высоко к потолку сакли и произнес:

— Имя девочки должно быть подобно сиянию звезды или нежности цветка. В имени мужчины должны воплощаться звон сабель и мудрость книг. Много имен узнал я, читая книги, много имен услышал я в звоне сабель. Мои книги и мои сабли шепчут мне теперь имя — РАСУЛ.

Старец, похожий на пророка, наклонился над одним моим ухом и шепнул: Расул. Потом он наклонился над моим другим ухом и громко крикнул: Расул! Потом он подал меня, плачущего, моей матери и, обращаясь к ней и ко всем, сидящим в сакле, сказал:

— Вот и Расул.

Сидящие в сакле молчаливым согласием утвердили мое имя. Старцы опрокинули кувшины, и каждый, вытирая рукой усы, громко крякнул.

Две вещи должен беречь каждый горец: папаху и имя. Папаха может оказаться тяжелой. Имя тоже. Оказывается, седовласый горец,

повидавший мир и прочитавший много книг, вложил в мое имя смысл и цель.

Расул по-арабски означает «посланец», или, еще точнее, «представитель». Так чей же я посланец, чей представитель?

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Бельгия. Я — участник встречи поэтов мира, на которую собрались представители разных наций и стран. Каждый выходил и говорил о своем народе, его культуре, его поэзии, его судьбе. Были и такие представители: венгр из Лондона, эстонец из Парижа, поляк из Сан-Франциско... Что поделаешь, судьба разбросала их по разным странам, за моря и за горы, далеко от родной земли.

Всех больше меня удивил поэт, который провозгласил:

— Господа, вы собрались сюда из разных стран. Вы являетесь представителями разных народов. Только я не представляю здесь ни одного народа, ни одной страны. Я представитель всех наций, всех стран, я представитель поэзии. Да, я — поэзия. Я — солнце, которое светит всей планете, я — дождь, который поливает землю, не задумываясь о своей национальности, я — дерево, которое одинаково цветет во всех уголках земного шара.

Так он сказал и пошел с трибуны. Многие аплодировали. А я думал: он прав, конечно, — мы, поэты, ответственны за весь мир, — но тот, кто не привязан к своим горам, не может представлять всю планету. Для меня он похож на человека, который уехал из родных мест, женился там и тещу стал называть мамой. Я не против тещ, но нет мамы, кроме мамы.

Когда у тебя спрашивают, кто ты такой, можно предъявить документ, паспорт, в котором содержатся все основные данные. Если же у народа спросить, кто он такой, то народ, как документ, предъявляет своего ученого, писателя, художника, композитора, политического деятеля, полководца.

Каждый человек смолоду должен понимать, что он пришел на землю для того, чтобы стать представителем своего народа, и должен быть готовым принять на себя эту роль.

Человеку дают имя, папаху и оружие, человека с колыбели учат родным песням.

В какие бы края ни забросила меня судьба, я везде чувствую себя представителем той земли, тех гор, того аула, где я научился седлать коня. Я везде считаю себя специальным корреспондентом моего Дагестана.

Но в свой Дагестан я возвращаюсь как специальный корреспондент общечеловеческой культуры, как представитель всей нашей страны и даже всего мира.

О нашем крае всем краям подлунным
Я, как хотелось, рассказать не мог,
С собой носил я полные хурджуны,
Да вот беда — их развязать не мог.

И звонкой песни на родном наречье
Я о подлунном мире спеть не мог.
Я кованый сундук взвалил на плечи.
Но сундука я отпереть не мог.

Перевел Н. Гребнев.

Рассядемся на плоской крыше сакли, и мои земляки начинают расспрашивать меня:

— Не повстречал ли в дальних краях нашего человека?

— Нет ли на земле гор, похожих на наши?

— Не было ли тебе скучно в чужой стороне, не вспоминал ли ты наш аул?

— Знают ли там, в других странах, о нас, о том, что и мы живем на земле?

Я отвечаю:

— Откуда им знать нас, если мы сами себя еще как следует не знаем. Нас один миллион. Мы собраны в каменную горсть дагестанских гор. Миллион человек и сорок разных языков...

— Вот ты и расскажи о нас — нам самим и другим людям, живущим по всей земле. В течение веков писали нашу историю кинжалы и сабли. Переведи на язык людей эти письмена. Если ты, родившийся в ауле Цада, не сделаешь этого, никто не сделает этого за тебя.

Собери свои мысли в отборные табуны, где скакун к скакуну и худших нет между ними. Выпусти эти табуны на пастбища чистых страниц. Пусть мысли мчатся по страницам, как вспугнутые лошади или как стадо туров.

Мысли свои не прячь. Спрячешь — забудешь потом, куда положил. Не так ли скупой забывает иногда о тайнике, где спрятаны деньги, и теряет их из-за своей скупости.

Но не отдавай своих мыслей и другим. Дорогой инструмент нельзя давать ребенку вместо игрушки. Ребенок или сломает, или потеряет инструмент, или обрежется об него.

Никто не знает повадок твоего коня лучше, чем знаешь их ты сам.

ПРИТЧА О ТРОПЕ МОЕГО ОТЦА. Из нашего маленького аула Цада в большой аул Хунзах есть дорога, по которой ездят автомобили. В Хунзахе — районный центр. Мой отец всегда ходил в Хунзах не общей дорогой, а по своей собственной тропинке. Он ее наметил, он ее проторил, он ходил по ней каждое утро и каждый вечер.

На своей тропе отец умел находить удивительные цветы. Он собирал их в еще более удивительные букеты.

Зимой и справа и слева от тропы он лепил из свежего снега маленькие скульптурки людей, лошадей, всадников. Жители Цада и жи-

тели Хунзаха приходили потом любоваться на эти фигурки.

Давно завяли и высохли те букеты, давно растаяли фигурки, вылепленные из снега. Но цветы Дагестана, но образы горцев живы в стихах отца.

Когда я был еще подростком и был еще жив мой отец, мне понадобилось сходить в Хунзах. Я свернул с большой дороги и хотел идти по тропинке, протоптанной моим отцом. Старый горец, увидев меня, остановил и сказал:

— Тропу отца оставь отцу. Ищи себе другую, свою тропинку.

Я послушался старого горца и пошел искать новый путь. Длинной, извилистой оказалась тропа моей песни, но я иду по ней, собирая свои цветы для своего букета.

На этой же тропе мне впервые пришла мысль об этой книге.

Задумал — все равно что зачал. Дитя обязательно родится, нужно только выносить его, как вынашивает женщина плод в своем чреве, а потом в поте лица и в муках — родить. Применительно к книге — написать.

Но имя ребенку можно выбрать до того, как он появится на свет. Как же мне назвать мою книгу? Взять ли мне имя для нее у цветов? Или у звезд? Вычитать ли в других мудрых книгах?

Нет, не буду надевать на своего коня чужое седло. Имя, взятое со стороны, может быть только прозвищем, кличкой, а не именем.

Все это так. Но если ты ищешь заглавие, надо исходить из того содержания, которое ты хочешь вложить в свою книгу, а также из цели, которую ты ставишь перед собой. Папаху выбирай по голове, а не наоборот. Длина струны определяется длиной пандура.

Мой аул, мои горы, мой Дагестан. Вот гнездо моих дум, моих чувств и стремлений. Из этого гнезда вылетел, как оперившийся птенец, я сам. Из этого гнезда все мои песни. Дагестан — мой очаг. Дагестан — моя колыбель.

Тогда зачем долго думать? В горах сыну чаще всего дают имя деда. Книга будет твое детище, а ты сын Дагестана. Значит, имя ей — «ДАГЕСТАН». Да и может ли быть более подходящее, более прекрасное и точное имя?

Страну, которую представляет посол, узнают по флажку на его машине. Моя книга — моя страна. Название — флажок.

У пишущего человека мысли спорят между собой на каждой странице, в каждой строке, за каждое слово. Вот и мои мысли тоже вступают в спор о названии книги — как министры на каком-нибудь международном совещании бросаются в словесную драку, начиная даже с повестки дня.

Итак, один министр внес предложение назвать будущую книгу словом «Дагестан». Второму министру это не понравилось. Раскладывая перед собой бумаги, он начинает возражать:

— Не пойдет. Не годится. Как это можно именем целой страны называть маленькую книгу? На ребенка не надевают папаху отца — голова ребенка утонет в ней.

— Почему не годится? — протестует министр, внесший предложение. — Когда луна плывет в небесах и отражается в морской или речной глади, то и отражение луны мы продолжаем называть луной, а не как-нибудь иначе. Неужели нужно придумывать для этого отражения какое-нибудь другое название? Правда, в сказке лиса, показывая однажды отражение луны волку, убедила серого, что это кусок сала, и волк сдуру прыгнул в реку. Но ведь лиса — известная обманщица и плутовка.

— Не пойдет. Не годится, — упорствует тот, другой министр. — Дагестан — прежде всего понятие географическое. Горы, реки, ущелья, родники, даже моря. Когда мне говорят «Дагестан», я прежде всего вижу географическую карту.

— Ну нет! — вмешиваюсь я. — Мое сердце до краев наполнено Дагестаном, но оно не географическая карта. У моего Дагестана вообще нет географических и каких-либо других границ. У моего Дагестана нет и последовательного плавного течения из века в век. Моя книга, если я ее напишу, не будет похожа на учебник о Дагестане. Я смешаю века, а потом возьму самую суть исторических событий, самую суть народа, самую суть слова «Дагестан».

Казалось бы, Дагестан — один-единственный для всех дагестанцев. И все-таки у каждого дагестанца он свой.

И у меня есть тоже свой собственный Дагестан. Таким вижу его только я, таким знаю его только я. Из всего, что я видел в Дагестане, из всего, что я пережил, из всего, что пережили все дагестанцы, жившие до меня и живущие вместе со мной, из песен и рек, поговорок и скал, орлов и подков, из тропинок в горах и даже из эха в горах сотворился во мне мой собственный Дагестан.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Кисловодск. Нас двое в палате. Я и один узбек. В час заката и в час восхода мы видим в окно обе вершины Эльбруса.

Я думаю о том, что эти две вершины похожи на бритые, покрытые ранами головы двух друзей, бесстрашных мюридов Шамиля.

В ту же самую минуту мой сосед говорит:

— Эта двуглавая гора напоминает мне одного седовласого старца из Бухары, который шел с двумя блюдами плова и вдруг остановился и замер, очарованный открывшимся видом утренней долины.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. В Калькутте в доме великого Рабиндраната Тагора я видел нарисованную птицу. Такой птицы нет на земле и не было никогда. Она родилась и жила в душе Тагора, она плод его фантазии. Но, конечно, если бы Рабиндранат никогда не видел настоящих земных птиц, то он не мог бы создать и образа своей чудесной птицы.

У меня тоже есть такая чудесная птица — мой Дагестан. Поэтому, чтобы название книги было точнее, нужно назвать ее «МОЙ ДАГЕСТАН». Не потому, что он мой по принадлежности, а потому, что мое представление о нем отличается от представления других людей.

Итак, решено. На обложке будет написано: «Мой Дагестан».

Несколько мгновений на совещании министров было тихо, никто не возражал. Но вдруг из-за стола встал и пошел на трибуну третий министр, доселе молчавший.

— Мой Дагестан. Мои горы. Мои реки. Ну что ж, неплохо. В общежитии хорошо жить только в молодости, в студенческом возрасте. Впоследствии человек должен иметь свою комнату или даже квартиру. Но мало сказать «мой очаг» — надо, чтобы в очаге горел огонь. Мало сказать «моя колыбель» — надо, чтобы в колыбели лежал ребенок. Мало сказать «мой Дагестан» — надо, чтобы в этих словах была идея — судьба Дагестана, его сегодняшний день. Известен своей мудростью дагестанский поэт Сулейман Стальский. Он понимал то, что я хочу теперь сказать. Вот его слова: «Я поэт не лезгинский, не дагестанский, не кавказский. Я поэт — советский. Я хозяин всей огромной страны». Вот как говорил седовласый мудрец Сулейман. А ты затвердил одно: мой аул, мои горы, мой Дагестан. Можно подумать, что весь мир начинается и кончается для тебя Дагестаном. Но разве не Кремль начало мира? Этого-то я и не вижу в твоем названии. Ты создал грудную клетку, забыв вложить в нее бьющееся сердце. Ты создал глаза, забыв вдохнуть в них блеск мысли. Безжизненные глаза похожи на виноградины.

Кинув с трибуны это яркое сравнение, третий министр важно пошел на свое место, собрав под мышкой кипы бумаг с цитатами из толстых и очень серьезных книг. На других он смотрел при этом так, будто им уже нечего сказать после его слов, как нечего сказать после приговора судьи.

Но тут на трибуну выбежал еще один участник совещания. Был он живой, веселый и вроде как помоложе других. Он и начал свою речь не как все, а со стихотворения:

Пока человек сидит, не узнаешь, хромой он или не хромой.
Пока человек спит, не узнаешь, крив он или не крив.
Пока человек обедает, не узнаешь, трус он или герой.
Пока человек молчит, не узнаешь, лжив он или правдив.

— Так вот, что я хочу сказать, — продолжал он, — конечно, хорошо, когда есть идея, а тем более такая, о которой говорил предыдущий оратор. Но бывают ведь и чересчур идейные товарищи. От таких для самой идеи только вред.

Название книги — как папаха. Но что же важнее, папаха или голова? Расскажу вам о том, как три охотника ловили волка.

БЫЛА ЛИ У ОХОТНИКА ГОЛОВА? Три охотника узнали, что в ущелье недалеко от села скрывается волк. Они решили его поймать и убить. О том, как они его ловили, есть много разных толков в народе, я с детства запомнил такой рассказ.

Волк, спасаясь от охотников, забрался в пещеру. Вход в нее был только один, и то очень узкий — голова пролезет, а плечи нет. Охотники притаились за камнем, свои винтовки нацелили на вход и стали ждать, когда волк вылезет из пещеры. Но волк был, как видно, не дурак, он спокойно отсиживался. Значит, проиграть должен был тот, кому первому надоест сидеть и ждать.

Одному охотнику надоело. Он решил как-нибудь протиснуться в пещеру и выгнать оттуда волка. Он подошел к дыре и просунул в нее голову. Охотники долго наблюдали за своим товарищем и удивлялись, почему он не старается пролезть вперед или хотя бы вытащить голову обратно. Наконец им тоже надоело ждать. Они пошевелили охотника и убедились, что головы у него нет.

Стали гадать: была ли у охотника голова до того, как он полез в пещеру? Один говорил, что как будто была, другой — что как будто не было.

Безголовое туловище принесли в аул, рассказали о случившемся. Один старец сказал: судя по тому, что охотник полез в пещеру к волку, головы у него не было уже давно, может быть, с самого рождения. Пошли выяснять к овдовевшей жене охотника.

— Откуда мне знать, была ли у мужа голова? Помню только, что каждый год он заказывал себе новую папаху.

Идея должиа быть не только в словах, но и в делах. Она должна быть в самой книге, а ие кричать с обложки. Слово, которое можио сказать в коице речи, не нужно произиосить в иачале.

Новорожденному иередко вешают иа грудь талисмаи, чтобы легкой была его жизнь, чтобы ие болел, ие зиал тоски и горя. Не будем судить, помогает ли талисман иа самом деле, но известно, что его носят под одеждой, а ие выставляют иапоказ.

В каждой книге должен быть такой талисмаи, о котором зиает автор, о котором догадываются читатели, но который скрыт под одеждой.

ИЛИ, когда делают урбеч, в иего добавляют иемиого меду. Мед растворяется в сладком и душистом иапитке, но его ие увидишь и не потрогаешь.

ИЛИ, в Бомбее есть сад, который вечно прекрасен. Ои ие увядает и ие сохиет, хотя кругом сушь и жара. Оказывается, под садом — скрытое от глаз озеро, которое поит деревья прохладиой живительной влагой.

Идея не та вода, которая с грохотом мчится по камиям, разбрасывая брызги, а та вода, которая иезримо увлажияет почву и питает корни растеиий.

— Что же это зиачит! — вскрикиул, вскочив и хлопнув ладоиью по столу, тот самый мииистр, который весь обложеи книгами и цитатами. — Выходит, иет иикакой разиицы, что украшает папаху: белая чалма, или красиая лента, или пятиконечиая звезда? Выходит, нет разницы, что человек иосит иа груди: красиый орден или чериый крест? Было бы, по-вашему, доброе сердце. Один человек не должеи быть одиовремеиио, как Гасаи из аула Танусы: учителем в Гоиохе, комсоргом в Гииичутле и муллой в Хуизахе. То же самое приложимо и к книге. Нет, иет и нет! Идея — это зиамя, и его не иужно прятать от глаз. Его нужио высоко подиять и так иести, чтобы все люди видели и шли за иим.

— А! Пусть жеиа изменит тому, кто будет возражать твоим словам, — опять вступился тот мииистр, что помоложе, — но ты хочешь сделать так, чтобы зиамя было отдельно, а люди, глядящие иа знамя, — отдельио. То есть чтобы идея жила отдельно от человеческих душ и сердец. Ты сажаешь их на две разиые арбы. А вдруг потом эти арбы поедут по разиым дорогам? Ты говоришь, что человек должеи быть ие аварцем, ие дагестаицем, а просто советским человеком. Но я вот, иапример, чувствую себя и аварцем, сыиом Дагестаиа, и в то же время граждаииием СССР. Разве эти поиятия исключают друг друга?

Как известио, от Кремля иачииается земля. И я согласеи с этим. Но для меия мир, кроме того, иачииается еще и от родного очага, от порога моей сакли, от моего аула. Кремль и аул, идеи коммуиизма и чувство родииы — два крыла птицы, две струны моего пандура.

— Но зачем же ковылять на одиой ноге? Тогда иадо придумать второе изваиие для книги, чтобы оно выражало ее внутренюю суть.

Искал я его повсюду. Я думал о Дагестаие, путешествуя по Иидии. В древией культуре этой страиы, в ее философии слышался мие отзвук иекоего таииствеииого голоса. А голос моего Дагестана для меия вполие реалеи, и он ведь слышен далеко по земле. Было время, когда иа слово «Дагестан» откликались эхом только пустыниые ущелья и голые скалы. А теперь оио звучит иад всей страиой, иад всем миром и находит отклик в миллиоиах сердец.

Думал я о Дагестаие и в буддийских храмах Непала, где текут двадцать две целебные воды. Но Непал — еще ие отграиеииый алмаз, и я ие мог сравнить с ним своего Дагестана, ибо алмаз Дагестана разрезал уже ие одно стекло.

Думал я о Дагестане и в Африке. Она иапомнила мие кинжал, вынутый из иожен только иа одиу четверть. И в других странах — в Каиаде, Англии, Испаиии, Египте, Япоиии — думал я о Дагестане, ища или различия, или сходства с иим.

И вот однажды, во время поездки по Югославии, я оказался в удивительиом городе Дубровнике на берегу Адриатического моря. В этом городе дома и улицы похожи иа ущелья и скалы, иа граиитные утесы со множеством уступов и площадок. Входы в дом похожи иногда иа входы в пещеры, вырубленные в скале. Но рядом подымаются совремеииые дома, соседствуя со средиевековьем и еще более глубокой стариной.

Весь город окружен стеиой — как наш Дербент. На эту стеиу я карабкался по узким порожистым улицам, по каменным лестиицам. Вдоль всей стены с одииаковыми промежутками расставлеиы камениые башии. У каждой башии две бойиицы, как два суровых глаза. Эти башии похожи иа мюридов имама, иесущих бессмеииую иеподкупиую службу.

Вскарабкавшись иа стеиу, я хотел взгляиуть сквозь бойницы изиутри башни. Я бы сделал это немедлеиио, ио там толпились туристы и я ие мог подойти к бойницам вплотную. Издалека же сквозь бойиицы я видел только маленькие лоскутки чего-то голубого. Эти лоскутки были величииой с бойницы, а бойиицы — величииой с ладонь.

Когда же я подошел и приблизил к бойии-

це свое лицо, я был поражен, увидев огромное море, переливающееся под январским солнцем, нежное, потому что это все-таки Адриатическое, южное море, и суровое, потому что все-таки был январь. Море не голубое, а разноцветное. Оно обрушивало свои волны на прибрежные скалы, и волны разбивались с пушечным гулом и откатывались назад. По морю плыли корабли, каждый из них — величиной с наш аул.

В это время я, до сих пор стоявший за спинами туристов и тянувшийся на цыпочках, чтобы взглянуть на огромный мир, а затем подошедший к окну и взглянувший, снова вспомнил про Дагестан.

Он ведь тоже стоял все время сзади, дожидаясь своей очереди, тоже тянулся на цыпочках и тоже ему мешали широкие спины впереди стоявших счастливчиков. А теперь он увидел весь мир будто через маленькое окошечко в крепостной стене. Он сам слился теперь со всем огромным миром, принеся в него свои обычаи, нравы, песни, свое достоинство.

Разные поэты в разные времена искали разные образы, чтобы воплотить в них свое представление о Дагестане. Печальный певец Махмуд сказал о народах Дагестана, что они похожи на горные ручьи, которые все время стремятся слиться в один поток, но не могут слиться и текут каждый сам по себе. А еще он сказал, что народы Дагестана чем-то напоминают ему цветы в узком ущелье, которые склоняются друг к другу, но не могут обняться. Но разве теперь народы Дагестана не слились в один горный поток, разве они не соединились в один букет?

Батырай сказал: как бедняк бросает свой ветхий тулуп в темный угол, так и Дагестан скомкан и брошен в ущелья гор.

Мой отец, прочитав историю Дагестана, сравнил его с рогом, который пьяницы во время застолья передают друг другу из рук в руки.

С чем же я сравню тебя, мой Дагестан? Какой образ найду, чтобы выразить свои мысли о твоей судьбе, о твоей истории? Может быть, потом я найду лучшие и достойнейшие слова, но сегодня я говорю: «Маленькое окно, открытое на великий океан мира». Или еще короче: «Маленькое окно на великий океан».

Вот вам, товарищи министры, второе название книги, которую я собираюсь написать. Я понимаю, так могли бы сказать про себя и другие страны, соседки моего Дагестана. Ну что ж, пусть у него будут тезки.

Итак, вот вам папаха — «МОЙ ДАГЕСТАН», вот вам и звезда на папаху — «Маленькое окно на великий океан».

Как человек, собирающийся играть, я настроил свой двуструнный пандур. Как человек, собирающийся шить, я уже вдел нитку в игольное ушко.

Мои министры утвердили название книги, как министры на каком-то международном совещании утвердили наконец повестку дня.

БЫВАЕТ, два брата едут мирно на одном коне. Бывает, один джигит ведет на водопой сразу двух коней в одном поводу.

АБУТАЛИБ СКАЗАЛ. Шляпу-то он купил, как у Льва Толстого, такую же голову где бы ему купить?

ГОВОРЯТ. Имя-то у него хорошее, каков-то вырастет сам человек?

О ФОРМЕ ЭТОЙ КНИГИ. КАК ЕЕ ПИСАТЬ

Кинжал, все время в ножнах спящий, — заржавеет.
Джигит, все время дома спящий, — зажиреет.

Надпись на кинжале

Нитку в иголку я вдел, но какой бешмет буду шить?
Струны-то я натянул, но какую песню мне спеть?

Хорошо подкован мой нетерпеливый, мой верный конь. Я сам поднял каждую его ногу и проверил крепость подков. Я оседлал коня, потянул за подпругу. Пальцы едва подлезают под нее. Хорошо и умело оседлан конь.

Старик, похожий чем-то на моего отца, отдал мне повод. Маленькая быстроглазая девочка протянула мне плеть. Горянка из соседней сакли нарочно вышла мне навстречу с кувшином, полным воды. Тем самым она пожелала мне доброго пути. И каждый, мимо кого я вел вдоль аула своего коня, пропускал меня и говорил: счастливого пути, бахарчи!

На краю аула в сакле молодая горянка поставила на окно зажженную лампу. Тем самым она говорит мне:

— Не забудь это окно, не забудь этот свет. Он не погаснет до тех пор, пока ты не вернешься назад. В далеком пути, на тяжелых ненастных ночлегах он будет светить тебе сквозь ночи и годы. А когда ты, изнуренный странствиями, будешь приближаться к родному аулу, он первым блеснет тебе в глаза. Запомни это окно и этот свет.

Я оборачиваюсь, чтобы еще раз взглянуть на родной аул. На крыше сакли я вижу мать. Она стоит прямо и одиноко. Она становится все меньше — вертикальная черточка на горизон-

тальных линиях плоских крыш. И наконец, после нового поворота дороги, гора загородила мой аул, и, оборачиваясь, я ничего не вижу, кроме горы.

Впереди я тоже вижу гору. Но я знаю, что за нею лежит огромный мир. И другие аулы, и большие города, и океаны, и вокзалы, и аэродромы, и книги.

Стучат подковы коня по каменистой дороге родной дагестанской земли. Над головой небо, окаймленное вершинами гор. Оно то залито солнцем, то усыпано звездами, то загорожено тучами и поливает землю дождем.

Подожди, мой конь, подожди,
Я еще назад не взглянул.
Оставляем мы позади
Наш любимый родной аул.

Ты лети, мой скакун, лети,
Для чего нам глядеть назад?
Ждут аулы нас впереди,
Там найдутся и друг и брат.

Куда я еду? Как мне выбрать правильный путь? Как написать мне новую книгу?

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Сейчас в Дагестане молодые люди не носят нашей национальной одежды. Они ходят в брюках, в пиджаках, в теннисках, в рубашках под галстук — как в Москве, в Тбилиси, в Ташкенте, в Душанбе, в Минске.

Национальную одежду надевают теперь только артисты Ансамбля песни и пляски. Человека в старой одежде можно встретить на свадьбе. Иногда, если человек захочет одеться по-дагестански, он берет одежду у друзей, у знакомых или напрокат. Своей уже нет. Одним словом, национальная одежда исчезает, чтобы не сказать — исчезла.

Но дело в том, что у иных поэтов исчезает национальная форма и в стихах, и они даже гордятся этим.

Я тоже хожу в европейском костюме, тоже не ношу черкеску отца. Но одевать свои стихи в безликий костюм не собираюсь. Я хочу, чтобы мои стихи носили нашу, дагестанскую национальную форму.

Я — что! Мне отпущено прожить несколько десятилетий. Эти десятилетия пришлись на период, когда все люди ходят в брюках, ботинках и пиджаке. У стихов — своя жизнь. У них свои сроки рождения и смерти. Я ничего не говорю о своих стихах, может быть, они не переживут меня.

Я видел в Москве старый дуб. Говорят, его посадил Иван Грозный. Значит, пока он рос, люди ходили сначала в боярских одеждах, потом в камзолах и пудреных париках, потом в цилиндрах и черных фраках, потом в буденовках и кожаных куртках, потом в простых пиджаках и широких брюках, потом в узких брюках... А дуб как бы говорил людям: бегайте там внизу, меняйте свою одежду, если вам нечего больше делать. У меня свое предназначение — улавливать солнечные лучи и превращать их в крепкую звонкую древесину, а также в желуди, из которых вырастут такие же могучие деревья.

В горах говорят, что одежда делает человека, конь делает храбреца. Эта поговорка звучит красиво, но мне она не кажется справедливой. Не обязательно в тигровую шкуру должен рядиться герой. Иногда и под стальной кольчугой может прятаться сердце труса.

ИБО, не раз мне приходилось чесать в затылке, когда арбуз, выбранный мною за красоту, оказывался внутри белым и несладким.

ИБО, один унцукулинец увез однажды свою возлюбленную, завернув ее в бурку, а когда развернул, там оказалась беззубая бабушка возлюбленной.

ИБО, Абуталиб рассказал мне, как однажды он был приглашен в далекий аул на свадьбу и играл там на зурне. Свадьба удалась на славу. Три дня на поляне перед аулом кудахтала зурна, хохотал барабан, стонала скрипка, заливалась гармонь, звенели песни. Как говорят в Дагестане, было и «дам-дам» и «чам-чам», то есть было что послушать, но было и что поесть. Весь аул на свадьбе побывал, и каждый человек от стара до мала хоть немного, да танцевал.

На третий день свадьбы глашатай по поручению тамады громко объявил, что сейчас выйдут в круг танцевать невеста и жених. Ну, жениха все видели в течение этих трех дней, невеста же все время сидела, скрытая под фатой. Три дня Абуталиб приглядывался к ее нарядным одеждам. Своей яркостью одежды напоминали, пожалуй, красочную обложку антологии кавказской поэзии.

Когда невеста поднялась и пошла в круг, Абуталиба несколько насторожила ее комплекция. По увесистости невесту можно было бы сравнить разве что с киргизским эпосом «Манас», изданным в Гослитиздате. Невеста приготовилась откинуть покрывало с лица. Все замерли, и Абуталиб затаил дыхание. И вот невеста приоткидывает платок — мгновение, которого ждали три дня...

Один глаз невесты смотрел в Хунзах, а другой в Ботлих. Между глазами, сердито отвернувшимися друг от друга, неуклюже примостился длиннющий нос...

Грустно стало Абуталибу. Он уже не смог больше ни играть на зурне, ни есть. Пришлось уйти со свадьбы.

Я думаю, Абуталиб преувеличил немного, рассказывая эту историю.

И ВСЕ ЖЕ, хорошее оформление не может спасти плохую книгу. Чтобы правильно оценить ее, с нее тоже нужно сбросить чадру.

ИБО, был год, когда на должную высоту, «на самое острие» был поднят вопрос о положении женщины-горянки и об отношении к ней со стороны мужчин.

В тот год муж не смел сказать жене поперек ни одного слова. За обычную домашнюю ссору вызывали в райком и давали выговор. А чтобы не было нареканий, сначала дали по выговору всем работникам аппарата райкома. В тот год то и дело собирались съезды горянок, на которых было выпущено на волю столько слов, сколько не выпущено на всех остальных съездах за все время.

В тот год на воскресных базарах стала появляться огромная женщина, торговавшая разным недозволенным товаром. Милиционер боялся ее тронуть, дабы не посягнуть на независимость и равноправие горянок. Но все же на третье воскресенье он робко предупредил торговку, а на пятое воскресенье — будь что будет! — решил задержать и отвести в милицию.

Пока милиционер вел торговку по улице, на него со всех сторон показывали пальцем и удивлялись, как это он посмел забрать независимую, раскрепощенную горянку!

Там, в базарной толчее, разглядеть торговку было трудно, а теперь милиционера стали привлекать некоторые детали, например, огромные сапоги, выглядывавшие из-под юбки.

«Да этот ручей течет не из родника!» — подумал милиционер и сорвал с торговки покрывало. На милиционера глянуло лицо матерого мужчины с выпученными глазами, с усами, похожими на кусты терновника на утесе.

Некоторые художники, не имеющие таланта, терпения и гордости, чтобы сбыть свой товар, тоже рядятся в чужие одежды, пытаясь за блеском формы спрятать немощность мысли. Но если в животе пусто, какой толк от того, что папаха надета набекрень.

А ТАКЖЕ, как бы ни был красив кинжал, сделанный из дерева, им не зарежешь и цыпленка. Он годен разве лишь на то, чтобы перерезать нити дождя.

А ТАКЖЕ, от женитьбы кукол не рождаются дети.

А ТАКЖЕ, когда мальчику хотят сделать обрезание, ему показывают гусиное перо. Но это только для того, чтобы обмануть. Гусиным пером обрезания не сделаешь, для этого нужен острый нож.

Но читатели не дети, чтобы их обманывать и утешать, и я не артист, чтобы носить в ножнах кинжал из картона, если даже ножны настоящие и позолоченные.

КОНЕЧНО, нужны и ножны — без них кинжал заржавеет. И хорошо, когда ножны красивые;

КОНЕЧНО, когда джигит возвращался из набега с драгоценной добычей, жена обвязывала шею коню шелковым платком;

КОНЕЧНО, тупой язык для самой острой мысли — все равно что волк для ягненка;

КОНЕЧНО, самая крепкая арба может растрястись на плохой дороге и может свалиться даже в пропасть;

КОНЕЧНО, спину коня не может украсить подседельник осла, а ослу не подойдет седло горячего скакуна.

Здесь я расскажу вам притчу о балхарце и его кляче.

ПРИТЧА О БАЛХАРЦЕ И О ЕГО КЛЯЧЕ. Один балхарец нагрузил своего беднягу коня горшками, кувшинами, плошками и отправился по аулам торговать.

В аварском ауле был в этот день праздник скачек. Горячие джигиты съехались сюда на своих еще более горячих конях. И джигиты были прославлены, и кони были прославлены. Джигиты были стройны и красивы, а их кони еще стройнее и красивее. Глаза у джигитов горели отвагой и азартом, глаза у коней горели огнем нетерпения.

Наездники начали уж выстраиваться в ряд, как вдруг на площадь въехал мирный балхарец на своей кляче. Вид у балхарца был полусонный, а его лошадь, казалось, совсем засыпает на ходу. Молодые джигиты подняли балхарца на смех:

— Давай присоединяйся к нам!

— Давай мы и твою клячу запишем в скакуны.

— Почему бы и ей не потягаться с нашими скакунами?

— Давай скачи вместе с нами, а то некому будет подбирать за нами подковы.

В ответ на все эти насмешки балхарец молча стал сгружать со своей лошади горшки, кувшины и плошки. Спокойно он сложил товар в одну кучу, спокойно сел верхом на коня и занял место в ряду джигитов.

Кони у джигитов рыли копытами землю, вставали на дыбы, перебирая в воздухе перед-

ними ногами, тогда как лошадь балхарца дремала, понурив голову.

И вот начались скачки. Как вихрь, понеслись горячие кони. Поднялось облако пыли, и в этом-то облаке, в самом хвосте его побежала и лошаденка балхарца. Закончился один круг скачек, потом другой, третий. Всем было заметно, как устают кони, на них появилась испарина, потом на них появилась пена, она хлопьями падала в горячую пыль. Ноги у скакунов как будто все больше немели, быстрота замедлилась. Как ни хлестали своих коней джигиты, как ни били их в бока задниками сапог, ничто не могло заставить коней скакать быстрее. И только кляча балхарца скакала, как прежде, — не тише и не шибче. Она сначала догнала задних, потом сравнялась с передними, а потом на последнем, десятом, круге обошла и передних.

На понурую шею балхарской клячи пришлось повязывать гордый призовой платок. Балхарец спокойно подвел свою лошадь к горшкам, погрузил их и поехал дальше.

Еще чаще, нежели на скачках, подобные случаи бывают в литературе.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Стихи, которые писались легко, бывает трудно читать. Стихи, которые писались с трудом, бывает легко читать. Форма и содержание — это как одежда и человек. Если человек хороший, умный, благородный, почему бы ему не носить соответствующей одежды. Если у человека красивое лицо, почему бы ему не иметь и красивых мыслей.

Очень часто женщины бывают красивы, но неумны, а если очень умны, то некрасивы. То же самое случается и с произведениями искусства.

Но есть счастливые женщины, которые блещут и красотой и умом. То же можно сказать и о книгах по-настоящему талантливых поэтов.

ОДИН МААЛИЕЦ СКАЗАЛ: «Как только человек, идущий к нам в аул, покажется на перевале, я сразу узнаю, хороший это или плохой человек».

ОДИН КУБАЧИНЕЦ СКАЗАЛ: «Золото или серебро сами по себе еще ничего не значат. Нужно, чтобы у мастера были золотые руки».

Самые прекрасные кувшины
Делаются из обычной глины,
Так же как прекрасный стих
Создают из слов простых.

Надпись на кувшине
Перевел Н. Гребнев.

Я прожил на свете больше пятнадцати тысяч дней. Я исходил и изъездил по земле очень много дорог. Я повстречал на земле много тысяч людей. Мои впечатления бесчисленны, как горные ручейки во время дождя или во время таяния снегов. Но как их соединить, чтобы вышла книга? Написать ее — все равно что в долине проделать широкое и глубокое русло. Но это только половина задачи. Надо, чтобы все горные ручейки собрались и потекли по этому руслу. Как же мне это сделать? Какие знания нужны, кроме знания жизни? Теория литературы? Но ведь нельзя думать больше о том, как писать стихи, вместо того, чтобы их писать.

Хочу сказать, что у меня нет любимых литературных школ и течений. У меня есть любимые писатели, художники, мастера.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. В Литературном институте на экзамене одного аварца спросили: какая разница между реализмом и романтизмом? Книг на эту тему аварец, должно быть, не читал, а отвечать было надо. Он подумал и так ответил профессору:

— Реализм — это когда орлом мы называем орла, а романтизм — это когда орлом называем петуха.

Профессор рассмеялся и поставил моему земляку зачет.

Что касается меня, то я с самого начала стараюсь называть коня конем, ишака ишаком, петуха петухом и мужчину мужчиной.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. У прославленного Рабиндраната Тагора был брат, тоже писатель. Этот брат был последователем бенгальской школы в индийской литературе. Рабиндранат же сам был школой, сам был целым течением, и в этом состояла разница между братьями.

В душе у Рабиндраната жила своя птица, не похожая на всех остальных, не существовавшая до него. Он выпустил ее на волю, в искусство, и все увидели, что это птица Рабиндраната Тагора.

Если же художник выпускает свою птицу на волю, а она смешивается со стаей других, одинаковых, — значит, он не художник. Значит, он выпускает не свою, необыкновенную, удивительную птицу, а обыкновенного воробья, и теперь уж никто не различает его воробья в стае других, пусть симпатичных, но все-таки воробьев.

У человека должен быть свой очаг, чтобы самому разводить огонь. Севший на чужого коня рано или поздно сойдет с него и отдаст хозяину. Не седлайте чужих мыслей, заведите себе свои.

Литературу я осмеливаюсь сравнить с пандуром, а писателей — со струнами, натянутыми

на нем. У каждой струны свой голос, свое звучание, но вместе они создают аккорд.

Аварскому пандуру полагается всего лишь две струны. Про моего отца говорили, что на пандур аварской литературы он натянул третью струну.

И мне бы добиться своего, отличного от других звучания. И мне бы стать еще одной струной на нашем древнем аварском инструменте.

Не хочу я уподобляться тем охотникам, которые купили лань на базаре, а дома говорят, что сами убили.

ИЛИ БЫВАЕТ ТАК: пройдет слух, будто в одном ущелье один охотник застрелил огромного тура, и вот все охотники бегут скорее в это счастливое ущелье. А тем временем первый охотник в другом месте убивает большого медведя. Ватага охотников бросается туда, тогда как охотник-мастер в третьем ущелье выслеживает матерого барса... Кто же, спрашивается, настоящий охотник? Тот, кто ищет добычу сам, или те, кто бегает за ним следом? Такие не постыдятся вынуть добычу из чужого капкана.

Они напоминают мне иных писателей. Нельзя поступать так, как поступил один мой знакомый. После того как он познакомился с Корнеем Ивановичем Чуковским, он сделал вид, что не знает Абуталиба.

Ручеек, добежавший до моря, и увидевший перед собой неоглядные голубые просторы, и смешавшийся с этой великой голубизной, не должен забывать тот родник высоко в горах, от которого начался его путь по земле, и весь тот каменистый, узкий, порожистый, извилистый путь, который пришлось преодолеть.

Да, я — горный ручей. Я люблю свой исток, свой родник, свое каменистое русло. Я люблю те сумеречные ущелья, по которым протекает моя вода, те скалы, с которых она падает серебристыми водопадами, те тихие ровные места, где она собирается в глубину, отражая в себе окрестные горы, небо и звезды в небе. И снова течет, сначала медленно, потом все убыстряя бег.

Но я не говорю, что мне хватило бы одних ущелий. Я теку — значит, у меня впереди цель. Я не только предчувствую — я вижу, я знаю беспредельную широту моря.

Да не только я. Вернее, потому и я, что у всего Дагестана расширился видимый кругозор. За эти годы и десятилетия расширились не только границы наших кладбищ, но и границы наших представлений о жизни и о мире.

Я аварский поэт. Но в своем сердце я чувствую гражданскую ответственность не только за Аваристан, не только за весь Дагестан, не только за всю страну, но и за всю планету. Двадцатый век. Нельзя жить иначе.

МНЕ РАССКАЗАЛИ. Вскоре после моего рождения отец временно был вынужден перебраться на службу в аул Арадерих. К седлу отцовского коня были приторочены две дорожные сумы, два хурджуна. В один хурджун был собран весь наш домашний скарб: одежда, остатки муки, толокно, сало, книги. Из другой сумы выглядывала моя голова.

После дороги моя мать тяжело заболела. В ауле, куда мы переехали, нашлась бедная одинокая женщина, у которой недавно умер ребенок. Эта арадериханка стала кормить меня своей грудью. Она стала моей кормилицей и моей второй матерью.

Итак, две женщины на земле, перед которыми я в долгу. Сколько бы ни длилась моя жизнь и что бы я ни делал для этих женщин, что бы я ни совершал во имя их, мне никогда не отплатить долга. Сыновний долг не имеет конца.

Эти две женщины: одна — моя мать, та, которая меня родила, и впервые качала мою колыбель, и спела мне первую колыбельную песню; другая... тоже моя мать, та, которая, когда я был обречен на смерть, дала мне свою грудь, и теплая жизнь начала вливаться в меня, и я с узкой тропинки умирания свернул на дорогу жизни.

Две матери и у моего народа, у моей маленькой страны, у каждой из моих книг.

Первая мать — родной Дагестан. Здесь я родился, здесь я впервые услышал родную речь, научился ей, и она вошла в мою плоть и кровь. Здесь я впервые услышал родные песни и первую песню спел сам. Здесь я впервые ощутил вкус воды и хлеба. Сколько бы раз ни поранился я в детстве, карабкаясь по острым камням, воды и травы родной земли залечили все мои раны. Горцы говорят: нет такой болезни, против которой не нашлось бы в наших горах целебной травы.

Моя вторая мать — великая Россия, моя вторая мать — Москва. Воспитала, окрылила, вывела на широкий путь, показала неоглядные горизонты, показала весь мир.

Перед обеими матерями я в сыновнем долгу. Махмуд и Пушкин — два ковра, два портрета висят на стене моей сакли. В томиках Блока, напоенных прохладой белых ночей Петербурга, хранился не один огненно-горячий цветок с аварских высокогорных лугов.

Две матери — как два крыла, как две руки, два глаза, две песни. Руки двух матерей и

гладили меня по голове, и трепали за уши, когда было нужно. Две матери натягивали струны на моем пандуре. Каждая мать по струне. Они подняли меня высоко над землей, над моим аулом, и я увидел с их плеч многое в мире, чего не увидел бы никогда, если бы они не подняли меня над землей. Как орел во время полета не знает, которое крыло из двух крыльев ему нужнее и дороже, так не знаю и я, которая мать дороже мне.

Раньше все свои болезни горцы лечили только травами и водой. Они верили знахарям. Правда, были и такие знахари, о которых до сих пор говорят в народе. Эти знахари, чтобы вылечить головную боль, заставляли резать черного барана.

Всякий аварец знает, что у черного барана мясо душистее и слаще, чем у серого или белого. Голову больного знахарь заворачивал в парную шкуру и заставлял его так сидеть. Мясо же уносил к себе домой.

Про таких знахарей мы теперь говорить не будем. Но были и хорошие народные лекари и лекарства.

Однажды мой отец лежал в Москве в кремлевской больнице. Там он вспомнил про травы и воды Дагестана и попросил своих сыновей привезти водички из маленького родника на Буцрахском хребте.

Слово отца для сыновей закон. Они поехали в Дагестан, вскарабкались на Буцрахский хребет, нашли там родник и взяли из него водички для больного аварского поэта, лежащего в кремлевской больнице.

Отец попил водички, и как будто ему полегчало. Он даже выздоровел. Но он не знал, что в тот же день ему начали впрыскивать новое заграничное лекарство.

Может быть, он не выздоровел бы только от одних этих порожденных мировой наукой медицинских средств. Может быть, он не выздоровел бы только от одной аварской воды, от нашего национального народного средства. Но от обоих средств он выздоровел.

Точно так же должно быть и в литературе. Ее истоки — родная земля, родной народ, родной язык. Но сознание каждого настоящего писателя сегодня шире одной только своей национальности. Общечеловеческое, общемировое волнует его сердце и теснится в его мозгу.

Вот в путь выходит пешеход.
Что он берет с собой?
Вино берет и хлеб берет...
Но, гость мой дорогой,

Тебе окажем мы почет,
Поклажа не нужна,
Горянка хлеба напечет,
А горец даст вина.

Вот в путь выходит пешеход.
Что он берет с собой?
Кинжал наточенный берет...
Но, гость мой дорогой,

В горах тебе привет и честь,
А если враг не спит,
Кинжал у горца тоже есть,
Тебя он защитит.

Вот в путь выходит пешеход.
Что он берет с собой?
В дорогу песню он берет...
О, гость мой дорогой,

Есть песни дивные у нас,
В горах им нет числа.
Но песню ты возьми в запас,
Она не тяжела.

Итак, если писателя уподобить доктору, то он должен уметь пользоваться и вековыми народными средствами, и самыми последними мировыми достижениями.

Если же писателя уподобить пешеходу-путешественнику, то он, приходя в гости к другому народу, должен нести в своем сердце свои родные песни, но он должен найти в сердце место и для тех песен, которые ему будут петь.

Один народ его провожает, другой встречает, а песни есть у всех.

Когда в наши аулы стали приезжать первые лекторы и докладчики, то в ауле Келеб женщины садились спиной к лектору, чтобы он не мог видеть их лиц. Но когда после лектора выходил к собравшимся певец и начинал петь, то женщины из уважения к песне преодолевали предрассудок и поворачивались лицом к певцу; больше того, им позволялось даже откидывать с лица чадру.

Нет дня и нет ни одной минуты, чтобы во мне не жила, не звучала та песня, которую над колыбелью мне пела мать. Эта песня — колыбель всех моих песен. Она та подушка, к которой я преклоняю свою усталую голову, она тот конь, который везет меня по белому свету. Она тот родник, к которому я припадаю во время жажды. Она тот очаг, который согревает меня, и вот тепло его я несу по жизни.

Но в то же время я не хотел бы уподобиться тому Шукуму, который, хотя и вырос в здоровенного детину, все еще не смог отучиться от материнского молока и тянулся к материнским сосцам. Про таких говорят: «Вырос с быка, а разум, как у телка».

В свое время мы привыкли заполнять разные анкеты. Сколько я их заполнил на своем веку! Ни в одной анкете не встречал я вопроса о любви к родине, но это вовсе не означает, что такой любви не существует среди людей на земле.

С другой стороны, мало написать в анкете «гражданин СССР» — надо им быть; мало написать «член КПСС» — надо им быть; мало написать «родной язык — аварский» — надо, чтобы этот язык действительно был родным, надо иметь мужество ему не изменять.

Приходите ко мне, разные гости, приносите мне разные песни! Приходите как братья, как сестры, всех я приму, всем найдется место в сердце!

Если горец, возвращаясь в Хунзах, привозил за седлом женщину другой национальности, такого горца встречали с упреком, поступок его не одобрялся старейшими людьми аула. Но теперь и старые и молодые привыкли к этому. Брак аварца с женщиной любой другой национальности не считается теперь позорным. Только один брак осуждается теперь в горах — это брак без любви.

Разве не правда, что чем разнообразнее цветы, тем краснее букет из этих цветов? Чем больше на небе звезд, тем ярче? Радуга потому и красива, что собрала в себе все земные цвета.

В Африке я видел удивительный, необыкновенный цветок. Каждый лепесток этого цветка окрашен в свой цвет. У каждого лепестка свой аромат, свое название. Короче говоря, на стебле растет прекрасный готовый букет, но в то же время это один цветок.

Я хотел бы, чтобы моя аварская книга была похожа на сказочный африканский цветок, чтобы каждый мог найти в ней свое близкое и родное.

Вот я раскладываю все, из чего должна создаваться такая книга. Как у хорошего мастера-кубачинца, все у меня под руками. У него — серебро, золото, режущие инструменты, молоточки, зубильца, клейма, рисунки. А у меня: родной язык, опыт жизни, портреты людей, характеры людей, мелодии песен, чувство истории, чувство справедливости, любовь, родная природа, память о моем отце, прошлое и будущее моего народа... Золотые слитки в моих руках. Но золотые ли руки у меня? Хватит ли таланта, хватит ли мастерства?

Как мне сделать, чтобы свою песню передать вам в ладони, как живую трепетную птицу, чтобы моя песня наполнила ваши сердца без спросу и без предупреждения, как наполняет сердца любовь?

Снова перебираю все, что у меня под руками на моем рабочем столе...

ГОВОРЯТ. Пусть уходит жена от того джигита, у которого нет коня.

ЕЩЕ ГОВОРЯТ. Пусть уходит жена и от того джигита, у которого нет седла или плети для коня.

ГОВОРЯТ. Не пытайтесь кормить орла сеном, а осла мясом.

ГОВОРЯТ. И красивый дом может рухнуть, если стены у него непрочные.

ГОВОРЯТ. Приснилось курице, что она орлица, — полетела со скалы и сломала крылья.

Приснилось ручью, что он большая река, — расплеснулся по песку и тут же высох.

ЯЗЫК

Младенец плачет
и смеется здесь,
Ни слова он не может
произнесть.
Но срок придет, и он
расскажет всем,
Кто он таков и в мир
пришел зачем.

Надпись на колыбели

Если бы в мире не было слова, то он не был бы таким, какой он есть.

Поэт родился за сто лет до сотворения мира.

Человек, решивший писать стихи без знания языка, подобен безумцу, который прыгнул в бурную реку, не умея плавать.

Некоторые говорят не потому, что в голове теснятся важные мысли, но потому, что чешется кончик языка. Некоторые пишут стихи не потому, что в сердце теснятся большие чувства, но потому, что... Трудно даже сказать, почему они вдруг решают писать стихи. Звучание их стихов похоже на сухое шуршание орехов, положенных в мешок из невыделанной овчины.

Эти люди не хотят оглянуться и посмотреть сначала, что делается в мире. Они не хотят прислушаться и узнать, какими созвучьями, какими песнями, какими мелодиями наполнен мир.

Спрашивается, для чего даны человеку глаза, уши, язык? И почему глаз у человека два, ушей два, а язык только один? Дело в том, что, прежде чем один язык выпустит в мир со своего кончика какое-нибудь слово, два глаза должны увидеть, а два уха услышать.

Слово, сорвавшееся с языка, — все равно что конь, спустившийся с крутой и узкой горной тропы на привольное ровное место. Спра-

шивается, можно ли выпустить в мир слово, если оно не побывало в сердце?

Нет просто слова. Оно либо проклятье, либо поздравленье, либо красота, либо боль, либо грязь, либо цветок, либо ложь, либо правда, либо свет, либо тьма.

Слышал я в краю своем суровом:
Словом создан мир для грешных нас.
Как оно звучало, это слово?
Как молитва? Клятва? Как приказ?
Мы встаем за этот мир на битву,
Мир изранен, мир истерзан зло,
Дайте слово: клятву, иль молитву,
Иль проклятье. Лишь бы мир спасло!

Один мой приятель говорил: я хозяин своего слова, хочу — его сдержу, хочу — нарушу. Возможно, для приятеля это годится, но писатель должен быть настоящим хозяином своих слов, своих клятв или проклятий. По одному и тому же поводу он не может поклясться дважды. И вообще, кто часто клянется, тот, по-моему, просто лжец.

Если эта книга похожа на ковер, то я тку ее из разноцветных ниток аварского языка; если она похожа на овчинную шубу, то овчину я сшиваю крепкими нитками аварского языка.

Говорят, раньше, давным-давно, в аварском языке было совсем мало слов. Понятия «свобода», «жизнь», «мужество», «дружба», «добро» обозначались одним и тем же словом либо словами, очень похожими по звучанию и смыслу. Но пусть другие говорят, что беден язык у нашего маленького народа. Я на своем языке могу сказать все, что захочу, и для выражения своих чувств и мыслей мне не надо другого языка.

В Дагестане есть небольшая народность — лакцы. На лакском языке говорит около пятидесяти тысяч человек. Трудно подсчитать точнее, ибо есть дети, которые еще не научились говорить, а есть такие, которые уже забыли язык отцов.

Малочисленны лакцы, но тем не менее их можно встретить во многих уголках земного шара. Бедное существование на каменистой земле заставляло их бродить по белому свету. Все они были прекрасные ремесленники, мастера — сапожники, златокузнецы, лудильщики, а некоторые ходили по земле и пели песни. В Дагестане говорят: «Осторожней разрезай арбуз, как бы оттуда не выскочил лакец».

Провожая сына в чужие края, мать-лачка наказывала: «Когда будешь есть кашу из городской тарелки, смотри, нет ли под кашей нашего человека».

И ВОТ РАССКАЗЫВАЮТ. По большому городу, то ли по Москве, то ли по Ленинграду, бродил по улицам лакец. Вдруг он увидел человека в дагестанской одежде. Повеяло родным, захотелось поговорить. Тотчас подскочил он к земляку и заговорил по-лакски. Земляк не понял своего земляка и покачал головой. Лакец попробовал заговорить по-кумыкски, потом по-татски, потом по-лезгински... На каком бы языке ни пытался заговорить лакец, его земляк в дагестанской одежде не мог поддержать разговора. Пришлось перейти на русский язык. Тогда выяснилось, что лакец напал на аварца. Аварец принялся ругать и стыдить своего неожиданного собеседника:

— Какой же ты дагестанец, какой же ты мне земляк, если не знаешь аварского языка! Ты не дагестанец, а невежественный верблюд.

В этом споре я не на стороне своего соплеменника. Не за что ему было нападать на бедного лакца. Аварский язык можно, конечно, знать, но можно и не знать. Важно, что он знал свой родной, лакский язык. Он ведь знал и еще несколько языков, в то время как аварец не знал их.

АБУТАЛИБ однажды гостил в Москве. На улице ему понадобилось за чем-то обратиться к прохожему. Скорее всего — спросить, где тут базар. Случилось так, что Абуталиб попал на англичанина. Что ж, это не удивительно — на московских улицах немало иностранцев.

Англичанин не понял Абуталиба и стал переспрашивать его сначала на английском языке, потом на французском, потом на испанском и, может быть, даже на других языках.

Абуталиб же пытался объясниться с англичанином сначала по-русски, потом по-лакски, потом по-аварски, потом по-лезгински, потом по-даргински, потом по-кумыкски.

Собеседники разошлись, не поняв друг друга. Один слишком культурный дагестанец, знающий два с половиной английских слова, впоследствии внушал Абуталибу:

— Вот видишь, что значит культура. Если бы ты был покультурнее, то мог бы поговорить с англичанином, понимаешь?

— Понимаю, — отвечал Абуталиб. — Только почему англичанин должен считаться культурнее меня, ведь он тоже не знал ни одного языка, на котором пробовал говорить с ним я.

Для меня языки народов — как звезды на небе. Я не хотел бы, чтобы все звезды слились в одну огромную, занимающую полнеба звезду. На то есть солнце. Но пусть сияют и звезды. Пусть у каждого народа будет своя звезда.

Я люблю свою звезду — мой родной аварский язык. Я верю тем геологам, которые говорят, что и в маленькой горе может оказаться много золота.

— Да отнимет аллах у твоих детей язык, на котором говорит их мать, — посылала женщина проклятье другой женщине.

О ПРОКЛЯТЬЯХ. Когда я писал поэму «Горянка», мне понадобилось проклятье, которое нужно было вложить в уста злой женщине из поэмы. Мне сказали, что в одном далеком ауле живет пожилая горянка, которую никто из соседок не может переругать. Я тотчас отправился к удивительной женщине.

Добрым весенним утром, когда не хочется ругаться и проклинать, а хочется радоваться и петь, я переступил порог нужной мне сакли. Простодушно рассказал я старой горянке, зачем пришел. Так, мол, и так, хочу услышать от вас проклятье покрепче, я его запишу и вставлю в поэму.

— Чтобы отсох твой язык, чтобы забыл ты имя своей любимой, чтобы твои слова не так понял человек, к которому тебя послали по делу, чтобы забыл ты сказать слова привета родному аулу, когда будешь возвращаться из далекого странствия, чтобы ветер свистел в твоем рту, когда он останется без зубов... Сын шакала, могу ли я смеяться (да лишит тебя аллах этой радости), если мне невесело? Дорого ли стоит плач в доме, в котором никто не умер? Могу ли я сочинить тебе проклятье, если меня никто не обидел и не оскорбил? Ступай, не приходи ко мне больше с такими глупыми просьбами.

— Спасибо, добрая женщина, — сказал я и ушел от порога ее сакли.

По дороге я думал: «Если она без всякой злобы, так сказать, с ходу, выпалила на мою голову такое виртуозное проклятье, что же она швырнет в лицо тому, кто ее по-настоящему разозлит?»

Я думаю, что со временем кто-нибудь из дагестанских фольклористов составит книгу из горских проклятий, и тогда люди узнают меру изобретательности, меру изощренности, меру фантазии горцев, а также и меру выразительности нашего языка.

В каждом ауле свои проклятья. Берегитесь палящего гнева проклятий! В одном из них вы уже связаны по рукам и ногам незримыми путами, в другом — вы уже в гробу, в третьем — ваши глаза вывалились в тарелку, из которой вы едите, в четвертом — ваши глаза катятся по острым камням и пропадают в ущелье. Проклятье насчет глаз считается одним из самых страшных. Это проклятье из проклятий. Но все же есть и страшнее его. В одном ауле я слышал, как ругались две женщины.

— Да лишит аллах твоих детей того, кто мог бы их научить языку.

— Нет, пусть аллах лишит твоих детей того, кого они могли бы научить языку!

Вот какие страшные бывают проклятья. Но и без всяких проклятий в горах лишается уважения тот человек, который не уважает родного языка. Мать-горянка не будет читать стихи сына, если они написаны на испорченном языке.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Однажды в Париже я встретил художника-дагестанца. Вскоре после революции он уехал в Италию учиться, женился на итальянке и не вернулся домой. Привыкший к законам гор, дагестанец трудно приживался на своей новой родине. Он колесил по земле, останавливался в блестящих столицах чужедальних стран, но куда бы он ни поехал, везде с ним была его тоска. Мне захотелось посмотреть на эту тоску, воплощенную в краски, я попросил, чтобы художник показал мне свои картины.

Одна картина так и называется «Тоска по родине». На картине изображена итальянка (та самая итальянка) в старинном аварском наряде. Она у горного родника, с серебряным кувшином чеканки прославленных гоцатлинских мастеров. Печально нахохлился на склоне горы каменный аварский аул, еще печальнее нахохлились над аулом горы. Вершины гор окутал туман.

— Туман — это слезы гор, — сказал художник. — Когда склоны окутывает туман, по морщинам скал начинают стекать светлые капли. Туман — это я.

На другой картине я увидел птицу, сидящую на кусте колючего терновника. А куст растет среди голых камней. Птица поет, а из окна сакли на нее глядит печальная горянка. Видя, что я заинтересовался картиной, художник пояснил:

— Это по мотивам древней аварской легенды.

— Какой легенды?

— Птицу поймали и посадили в клетку. Оказавшись в плену, птица день и ночь твердила: родина, родина, родина, родина, родина, родина... Точь-в-точь как все эти годы твержу я... Хозяин птицы подумал: «Что же у нее за родина, где она? Наверно, это какая-нибудь прекрасная цветущая страна, где райские деревья и райские птицы. Дай-ка выпущу я птицу на волю и погляжу, куда она полетит. Она мне покажет дорогу в ту необыкновенную страну». Он открыл золотую клетку, и птица выпорхнула. Она отлетела десять шагов и опустилась на куст терновника, растущий среди голых камней. В ветвях этого куста было ее гнездо... На свою родину я тоже смотрю из окна своей клетки, — закончил художник.

— Почему же вы не хотите возвратиться?

— Поздно. В свое время увез я с родной земли свое молодое жаркое сердце, могу ли я возвратить ей одни старые кости?

Приехав из Парижа домой, я разыскал родственников художника. К моему удивлению, оказалась еще жива его мать. С грустью слушали родные, собравшись в сакле, мой рассказ об их сыне, покинувшем родину, променявшем ее на чужие земли. Но как будто они прощали его. Они были рады, что он все-таки жив. Вдруг мать спросила:

— Вы разговаривали по-аварски?

— Нет. Мы говорили через переводчика. Я по-русски, а твой сын по-французски.

Мать закрыла лицо черной фатой, как закрывают его, когда услышат, что сын умер. По крыше сакли стучал дождь. Мы сидели в Аварии. На другом конце земли, в Париже, тоже, может быть, слушал дождь блудный сын Дагестана. После долгого молчания мать сказала:

— Ты ошибся, Расул, мой сын давно умер. Это был не мой сын. Мой сын не мог забыть языка, которому его научила я, аварская мать.

ВОСПОМИНАНИЕ. Было время, когда я работал в аварском театре. И было время, когда мы, нагруженные декорациями, костюмами, бутафорией (весь наш театральный скарб возили ослы, но оставалось еще скарба и для самих артистов), кочевали из аула в аул, приобщая горцев к драматическому искусству. Часто я вспоминаю этот год, проведенный в театре.

В некоторых спектаклях мне доставались незначительные роли, но чаще всего я сидел в будке суфлера. Мне, молодому поэту, нравилась роль суфлера больше всех остальных ролей. Мне казалась второстепенной и необязательной игра артистов, их мимика, жесты, передвижение по сцене. Мне казались второстепенными костюмы, грим, декорации. Одно я считал важнее всего на свете — слово. Ревниво я следил за тем, чтобы актеры не перевирали слов, чтобы они правильно их произносили. И если какой-нибудь актер пропускал слово или искажал его, я высовывался из своей будки и на весь зал произносил это слово правильно.

Да, текст и слово я считал важнее всего, потому что слово может жить и без костюма и без грима — его смысл будет понятен зрителям.

Вспоминаю один курьез. Мы показывали тогда спектакль «Горцы» о далеком прошлом аварского народа. Я, как обычно, был суфлером. По ходу спектакля герой пьесы Айгази, скрывающийся в горах от кровной мести, ночью пришел в аул, чтобы встретиться со своей возлюбленной. Подруга уговаривает его скорее обратно уйти в горы, а то убьют, но Айгази (играл эту роль актер Магаев), накрыв возлюбленную буркой от дождя, говорит ей всякие слова о своей любви, о своих страданиях.

Тут произошло неожиданное. На сцену вдруг выбежала жена Магаева. В гневе она набросилась на мужа за то, что он говорит о любви другой женщине. Магаев схватил жену за руки и утащил за кулисы, чтобы объяснить ей что к чему. Он надеялся тотчас же вернуться на сцену и продолжать спектакль, но жена вцепилась в мужа и на сцену его не пустила. Возлюбленная осталась одна посреди сцены. Получилась заминка.

Я сидел в своей будке, конечно, не в костюме и без грима, а просто в брюках и в белой рубашке, с расстегнутым воротником. Кажется, даже в тапочках. В таком виде я заменить Магаева не мог, хоть и знал его роль наизусть. Но так как для меня важнее всего было слово, а не костюм, я выскочил из будки на сцену и сказал бедной возлюбленной все те слова, которые должен был говорить Айгази — Магаев.

Не знаю, остались ли довольны зрители, может быть, драма превратилась для них в комедию, но я был доволен. Ведь они поняли содержание пьесы, они не пропустили ни одного слова, а это я считал самым главным.

Помню, с этим же театром я впервые приехал в знаменитый высокогорный аул Гуниб. Известно, что поэт поэту кунак, хотя бы они и не были знакомы. В Гунибе как раз жил поэт, о котором я слышал, но встречаться с которым раньше не приходилось. К этому поэту я пришел в гости, у него же я остановился на дни наших гастролей.

Добрые хозяева приняли меня так хорошо, что мне было даже неловко, я не знал, куда себя деть. Особенно же запомнилась мне ласковая доброта матери поэта.

Уезжая, я не находил слов благодарности. Получилось так, что с матерью поэта я прощался, когда в комнате никого не было. Я знал, что для матери не может быть ничего радостнее, если скажут хорошее слово о ее сыне. И хотя я очень трезво смотрел на очень скромные способности гунибского поэта, все же я начал робко хвалить его. Я стал говорить матери, что ее сын — очень передовой поэт, пишет всегда на злободневные темы.

— Может, он и передовой, — грустно перебила меня мать, — но у него нет таланта. Может быть, его стихи и злободневны, но когда я начинаю их читать, мне становится скучно. Ты только подумай, Расул, как получается. Когда сын учился произносить первые слова, которые и понять-то было нельзя, я несказан-

но радовалась. А теперь, когда он научился не только говорить, но и писать стихи, мне скучно. Говорят, что ум женщины лежит на подоле ее платья. Пока она сидит, он при ней, но стоит ей встать, как ум скатывается и падает на пол. Так и мой сын: пока сидит за столом, обедает — говорит нормально, все бы слушала, но пока он идет от обеденного стола до письменного, он теряет все простые и хорошие слова. Остаются только казенные, серые, скучные.

Вспоминая этот случай, я молю аллаха не лишить меня моего языка. Я хотел бы писать так, чтобы мои стихи, и эта моя книга, и все, что я напишу, было понятно и дорого и матери, и сестре, и каждому горцу, и каждому человеку, в руки которого попадет моя книга. Я не хочу навевать скуку — я хочу приносить радость. Если же испортится мой язык, сделается холодным, непонятным и скучным — одним словом, если я испорчу мой язык, страшнее этого в жизни для меня ничего не будет.

Бывало, когда горцы нашего аула собирались около мечети на годекан, то есть на сходку, чтобы обсудить некоторые общие дела, я читал им стихи моего отца. Я был ребенок, мальчик, но стихи умел читать с большой энергией (даже с излишней энергией), громко, выделяя некоторые понравившиеся мне слова и звуки. Так, например, читая новое стихотворение отца «Травля волка в Цада», я звук «цъ» в словах «бацъ» и «цъада» произносил сквозь стиснутые зубы, но так, что они все равно дрожали, лязгали, стукались друг о друга. Мне казалось, что при таком резком, напряженном произношении этих звуков получается больше впечатления.

Отец каждый раз поправлял меня, говоря:

— Разве слово похоже на орех, чтобы его грызть и дробить зубами? Или разве слово похоже на чеснок, чтобы его толочь в каменной ступе каменным пестиком? Или разве слово — это сухая каменистая земля, которую нужно пахать, что есть силы налегая на соху? Произноси слова легко, без натуги, чтобы зубы твои не лязгали и не стучали.

Я начинал читать снова, но у меня опять получалось по-своему. Моя мать в это время стояла на краю крыши сакли. Отец крикнул матери:

— Хоть ты научи его!

Мать произнесла трудные для меня слова так, как хотел отец.

— Слышал? Теперь давай ты.

У меня опять ничего не вышло.

— Тьфу, — рассердился отец. — Одного джалатуринца, который портил слова, я побил метлой. Но что мне делать со своим сыном?

В досаде отец ушел с годекана.

КАК ОТЕЦ ПОБИЛ ДЖАЛАТУРИНЦА. Был весенний базарный день. Весной, как известно, кончается все, что оставалось от прошлого урожая, но и нового еще ничего нет. Весной все на базаре дороже, чем осенью, даже горшки, хотя они и не растут в поле.

Мой отец, тогда еще молодой человек, решил сходить на базар. Сосед попросил его купить метлу и дал двадцать копеек.

— Если купишь дешевле, сдачу оставь себе, — напутствовал сосед молодого Гамзата, и с этим напутствием Гамзат пришел на базар.

Вскоре он нашел продавца метел и стал торговаться. Все ли знают, что на всяком восточном базаре первый запрос ничего не значит? За вещь, которая стоит пять копеек, могут запросить сто рублей.

Отец выбрал метлу получше, покрепче и спросил:

— Продаешь?

— Зачем же я здесь стою?

— Почем?

— Сорок копеек.

— Метла ведь не лошадь, чтобы начинать торговаться с большого, говори сразу действительную цену — и по рукам.

— Сорок копеек.

— А кроме шуток?

— Сорок копеек.

— Отдай за двугривенный.

— Сорок копеек.

— Но у меня только двугривенный.

— Сорок копеек.

— Но у меня правда нет больше денег.

— Приходи, когда будут.

Поняв, что метлу не купишь, отец пошел бродить по базару и вскоре увидел на некотором возвышении, невдалеке от торговых рядов, толпу народа. Он подошел, протолкался и понял, что народ слушает певца Махмуда.

Махмуд сидел в середине толпы с пандуром в руках. Он то играл на пандуре, то вдруг клал на струны ладонь и пел. Все слушали затаив дыхание. Пчелу, пролетавшую над базаром по своим пчелиным делам, было слышно. Один юноша кашлянул во время пения, и седовласый горец, как видно, отец кашлянувшего, тотчас прогнал сына подальше от песни.

В этой-то тишине, когда, кроме песни Махмуда, не слышалось ни одного звука, некий джалатуринец начал переговариваться со своим соседом. Вообще-то намерение у джалатуринца было благое: своему соседу, не понимавшему по-аварски, он пересказывал по ходу дела все, что поет Махмуд. Но вот беда, его беспрерывная болтовня мешала всем остальным людям слушать песню и наслаждаться ею.

Молодой Гамзат, мой будущий отец, возмутился поведением джалатуринца. Он дернул его за рукав, но это не помогло, он сказал ему

на ухо, чтобы замолчал, но тот и на это не обратил внимания. В растерянности Гамзат оглянулся вокруг и увидел, что продавец метел тоже подошел слушать. Отец подбежал, схватил самую большую метлу и начал колотить ею назойливого джалатуринца.

Джалатуринец, отступая, грозил Гамзату, но отец так разъярился, что не слушал угроз и в конце концов прогнал мешавшего слушать песню. Потом отец подошел к торговцу, чтобы возвратить метлу.

— Оставь ее себе.

— Но у меня ведь только двадцать копеек, а ты просишь сорок.

— Возьми задаром. Твой поступок стоит дороже, чем весь мой товар.

Джалатуринцев, портящих песни, много теперь развелось на земле. Жалко, что не находится на них метлы и человека, который бы этой метлой воспользовался.

О хорошем, метком и остром слове в горах говорят: «Оно стоит оседланного коня».

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Али Алиев, мой сосед по дому в Махачкале, — прекрасный борец, четырехкратный чемпион мира. Однажды в Стамбуле он встретился в поединке с сильнейшим турецким борцом. Турок действительно был силен и ловок. Но мой сосед Али Алиев, хладнокровный и храбрый горец, бросил турка на ковер, словно моток веревки. Вставая, турок буркнул себе под нос горское проклятье. Велико было удивление Али Алиева, услышавшего аварскую речь. Еще больше удивился турок, когда победитель сказал ему тоже по-аварски: «Зачем ругаться, земляк, спорт есть спорт».

И все же больше их обоих удивились судьи и зрители, когда противники ни с того ни с сего бросились в объятия друг другу, словно брат нашел давно пропавшего брата.

Оказывается, турок происходил из аварской семьи, которая после пленения Шамиля ушла в Турцию. Борцы и сейчас, когда приходится, встречаются как друзья.

ВОСПОМИНАНИЕ МОЕГО ОТЦА. В 1939 году мой отец ездил в Москву получать орден. Это было большое событие. Когда он с орденом на груди возвратился в аул, то джамаат, то есть всеобщий сбор аула, попросил его рассказать о Москве, о Кремле, о Михаиле Ивановиче Калинине, который тогда всем вручал ордена, а также о самом сильном своем впечатлении.

Отец рассказывал по порядку, как было дело, и говорил:

— А самое главное в том, что Михаил Иванович Калинин мое имя произнес не по-русски, а по-аварски. Он назвал меня Ц'адаса Хамсатом, а не просто Гамзатом Цадаса.

Старейшины аула удивлялись и одобрительно кивали головами.

— Вот видите, — сказал отец, — когда вы слышите это от меня, и то вам приятно, каково же было мне услышать это самому в самом Кремле от самого Калинина. Скажу вам по чести: так обрадовался, что забыл обрадоваться и ордену.

Чувства отца мне очень понятны.

Несколько лет назад в составе делегации советских писателей я был в Польше. Однажды в Кракове ко мне в номер гостиницы постучали. Я открыл дверь. Незнакомый человек на чистом аварском языке спросил:

— Здесь живет Гамзатил Расул?

Я растерялся и обрадовался:

— Чтобы не сгорел и не обрушился дом твоего отца! Как же ты, аварец, оказался в Кракове?

Я чуть не бросился обнимать своего гостя, затащил его в номер, мы проговорили до конца дня и целый вечер.

Но гость не был аварцем. Это был польский ученый, занимающийся языком и литературой Дагестана. Аварскую речь он впервые услышал в концлагере от двух узников-аварцев. Язык понравился ему, а еще больше понравились сами аварцы. Поляк начал изучать наш язык. Впоследствии один аварец умер, а другой перенес заключение, был освобожден Советской Армией и жив до сих пор.

Мы говорили с поляком только по-аварски. Это было для меня удивительно и непривычно. В конце концов я пригласил ученого в Дагестан в гости.

Да, мы оба говорили с ним в тот день на аварском языке. Но все же между моей речью и его была огромная разница. Он говорил, как подобает ученому, на очень чистом, очень правильном, но слишком правильном, даже равнодушном языке. Он думал больше о грамматике, а не о красках речи, о схеме, о конструкции фразы, а не о живой плоти каждого слова.

Я хочу написать книгу, в которой не язык подчинялся бы грамматике, а грамматика языку.

ИНАЧЕ, грамматику уподоблю путнику, идущему по дороге, а литературу уподоблю путнику, едущему на муле. Пешеход попросил подвезти его, и путник, едущий на муле, посадил пешехода сзади себя. Постепенно пешеход осмелел, вытеснил ездока с седла, стал прогонять его, крича: «Мул этот мой, и все имущество, привязанное к седлу, тоже мое!»

Мой родной аварский язык! Ты мое богатство, сокровище, хранящееся про черный день,

лекарство от всех недугов. Если человек родился с сердцем певца, но немым, то лучше бы ему не родиться. У меня в сердце много песен, у меня есть голос. Этот голос — ты, мой родной аварский язык. Ты за руку, как мальчика, вывел меня из аула в большой мир, к людям, и я рассказываю им о своей земле. Ты подвел меня к великану, имя которому — великий русский язык. Он тоже стал для меня родным, он, взяв за другую руку, повел меня во все страны мира, и я благодарен ему, как благодарен и своей кормилице — женщине из аула Арадерих. Но все-таки я хорошо знаю, что у меня есть родная мать.

ИБО, можно сходить за спичками к соседу, чтобы разжечь огонь в своем очаге. Но нельзя идти к друзьям за теми спичками, которыми зажигается огонь в сердце.

Языки у людей могут быть разные, были бы едины сердца. Я знаю, что иные мои друзья, покинув свои аулы, уехали жить в большие города. В этом нет большой беды. Птенцы тоже сидят в своем гнезде только до тех пор, пока у них не вырастут крылья. Но как отнестись к тому, что кое-кто из моих друзей, живущих в больших городах, пишет теперь на другом языке? Конечно, это их дело, и мне не хотелось бы их поучать. Но все же они похожи на людей, пытающихся удержать в одной руке два арбуза.

Я говорил с беднягами и нашел, что язык, на котором они теперь пишут, уже не аварский, но еще и не русский. Он напоминает мне лес, в котором хозяйничали нерадивые лесорубы.

Да, я видел таких людей, для которых родной язык беден и мал, и вот они отправились искать себе другой, богатый и большой язык. А вышло, как у козы из аварской сказки: коза пошла в лес, чтобы отрастить себе волчий хвост, но вернулась даже и без рогов.

ИЛИ, они похожи на домашних гусей, которые умеют плавать и нырять, но все же не как рыба, немножко умеют и летать, но все же не как вольные птицы, немного умеют даже петь, но все же не соловьи. Ничего они не умеют делать как следует.

— Как дела? — спросил я однажды у Абуталиба.

— Так себе. Не как у волка, но и не как у зайца. Серединка на половинку. — Абуталиб помолчал и добавил: — Самое плохое состояние для писателя — серединка на половинку. Он должен чувствовать себя или волком, заевшим зайца, или уж зайцем, убежавшим от волка.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Однажды юноши из соседнего аула пришли к моему отцу и рассказали, что они поколотили певца.

— За что вы его поколотили? — спросил отец.

— Он кривлялся, когда пел, — нарочно кашлял, перевирал слова, то вдруг взвизгивал, то вдруг лаял по-собачьи. Он испортил песню, вот мы его и поколотили.

— Чем вы колотили его?

— Кто ремнем, а кто кулаком.

— Надо было еще и плетью. Но хочу вас спросить, по каким местам вы его колотили?

— Все больше по мягким. Но попадало, конечно, и по шее.

— А ведь виноватее всего была его голова.

ВОСПОМИНАНИЕ. Почему бы не рассказать здесь еще одну историю, если она все равно уж вспомнилась? Есть в Махачкале один аварский певец... Имя его не хочу называть: сам он все равно догадается, а нам с вами не все ли равно? Бывало, этот певец часто приходил к моему отцу и просил написать слова к его мелодии. Отец соглашался, и получались песни.

Однажды мы пили чай, когда по радио объявили, что известный певец сейчас будет петь песню на слова Гамзата Цадаса. Мы все стали слушать, и отец тоже. Но чем больше мы слушали, тем больше и больше удивлялись. Певец пел так, что нельзя было разобрать ни одного слова. Слышны были только какие-то выкрики, певец проглатывал слова, будто петух, который сначала расшвырял весь корм по сторонам, а потом склевывает по зернышку.

При встрече отец спросил у певца, зачем он так небрежно поступает с его словами.

— Я делаю так для того, — ответил певец, — чтобы другие ничего не поняли и не запомнили. Если другие певцы в горах запомнят песню, они тоже будут ее петь, а мне хочется петь одному.

Через некоторое время отец устроил вечеринку для друзей, среди которых был и певец. В конце вечеринки отец снял со стены кумуз с оборванными струнами и, кое-как бренча на единственной, да и то ослабленной струне, начал петь песню, мелодия которой была сочинена певцом. Слова отец произносил очень внятно, но от мелодии, исполняемой на расстроенном инструменте, не осталось ничего похожего. Певец возмутился, стал говорить, что его песню нельзя играть на ободранном и расстроенном кумузе, что такой кумуз не в силах передать всю красоту его мелодии. Отец спокойно ответил:

— Это я нарочно играю и пою так, чтобы другие не могли запомнить и уловить твоей мелодии. Уж если годится песня, в которой нельзя разобрать слов, то почему же не годится песня, в которой нельзя разобрать музыки?

На десяти языках пишут дагестанцы свои произведения, на девяти языках они их издают. Но что же в таком случае делают те, которые пишут на десятом? И что это за язык?

На десятом языке пишут те, кто успел забыть свой родной язык — будь то аварский, лакский или татский, — но еще не успел познать чужой язык. Они оказались ни тут, ни там.

Пиши на чужом языке, если ты знаешь его лучше, чем свой родной. Или пиши на родном, если не знаешь как следует никакого другого. Но не пиши на языке десятом.

Да, я враг десятого языка. Язык должен быть древним, тысячелетним, только тогда он годится в дело.

Язык, конечно, изменяется, я не буду против этого спорить. Ведь и листья у дерева тоже сменяются каждый год, одни отживают и падают, а другие вырастают на их месте. Но само дерево остается. Оно делается с каждым годом все пышнее, ветвистее, крепче. На нем в конце концов вырастают плоды.

Я отдаю вам свои песни, свои книги, я преподношу вам плоды, выросшие на маленьком, но древнем дереве аварского языка.

РОДНОЙ ЯЗЫК

Всегда во сне нелепо все и странно.
Приснилась мне сегодня смерть моя.
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я.

Звенит река, бежит неукротимо.
Забытый и не нужный никому,
Я распластался на земле родимой
Пред тем, как стать землею самому.

Я умираю, но никто про это
Не знает и не явится ко мне,
Лишь в вышине орлы клекочут где-то
И стонут лани где-то в стороне.

И чтобы плакать над моей могилой
О том, что я погиб во цвете лет,
Ни матери, ни друга нет, ни милой,
Чего уж там — и плакальщицы нет.

Так я лежал и умирал в бессилье
И вдруг услышал, как невдалеке
Два человека шли и говорили
На мне родном аварском языке.

В полдневный жар в долине Дагестана
Я умирал, а люди речь вели
О хитрости какого-то Гасана,
О выходках какого-то Али.

И, смутно слыша звук родимой речи,
Я оживал, и наступил тот миг,
Когда я понял, что меня излечит
Не врач, не знахарь, а родной язык.

Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.

Я за него всегда душой болею,
Пусть говорят, что беден мой язык,
Пусть не звучит с трибуны ассамблеи,
Но, мне родной, он для меня велик.

И чтоб понять Махмуда, мой наследник
Ужели прочитает перевод?
Ужели я писатель из последних,
Кто по-аварски пишет и поет?

Я жизнь люблю, люблю я всю планету,
В ней каждый, даже малый, уголок,
А более всего Страну Советов,
О ней я по-аварски пел, как мог.

Мне дорог край цветущий и свободный
От Балтики до Сахалина — весь.
Я за него погибну где угодно,
Но пусть меня зароют в землю здесь!

Чтоб у плиты могильной близ аула
Аварцы вспоминали иногда
Аварским словом земляка Расула —
Преемника Гамзата из Цада.

Перевел Н. Гребнев.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Родители молодого горца были против его брака с русской девушкой. Но она, видимо, очень любила своего аварца. Однажды он получил от нее письмо, написанное на аварском языке. Жених тотчас показал письмо родителям. Те читали его, не веря своим глазам. Они так растерялись, что тут же, держа необыкновенное письмо в руках, разрешили сыну привести эту девушку в свой дом.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Язык для писателя — все равно что для крестьянина урожай в поле. Много зерен в каждом колоске, много колосьев — не сосчитать. Но если бы крестьянин сидел сложа руки и смотрел на свой урожай, то в конце концов он не взял бы ни одного зерна. Рожь нужно жать, потом молотить. Однако и молотьба еще только половина дела. Предстоит очистить умолот, отделить чистые зерна от плевела, от сорняков. Потом надо молоть муку, месить тесто, печь

хлеб. Но самое главное, пожалуй, — помнить, что, как бы ни велика была нужда в хлебе, нельзя израсходовать все зерно. Самое лучшее зерно крестьянин оставляет на семена.

Писатель, работающий над языком, больше всего похож на крестьянина.

ГОВОРЯТ. Дети срубили дерево, на котором водилась сорока, и разорили ее гнездо.

— Дерево, почему тебя срубили?

— Потому что я ничего не могло им сказать.

— Сорока, почему твое гнездо разорили?

— Потому что я очень много трещала.

ГОВОРЯТ. Слова — как дождь: один раз — великая благодать, второй раз — хорошо, третий раз — терпимо, четвертый раз — бедствие и напасть.

ТЕМА

Не ломай дверь — она легко открывается ключом.

Надпись на дверях

Не говори: «Дайте мне тему».
Говори: «Дайте мне глаза».

Совет молодому писателю

«Дорогие товарищи, у меня есть большое желание писать. Но я не знаю, о чем. Дайте мне нужную злободневную тему, и я напишу замечательную книгу».

Нередко с такой просьбой обращаются молодые люди в Союз писателей, в редакции журналов или в газеты, лично к писателям. Получаю такие письма и я. Получал их и мой отец. Он, бывало, качал головой и говорил:

— Молодой человек хочет жениться, но вот беда — не знает, на ком. Нет на примете ни одной девушки, неизвестно, к кому посылать сватов.

ВОСПОМИНАНИЕ. Однажды в Союз писателей Дагестана поступило письмо от Абуталиба. Поэт просил творческую командировку на месяц в далекие горные аулы. На заседании правления Абуталиба спросили, о чем же именно он хочет писать, на какую тему. Старый поэт рассердился:

— Разве знает охотник, что попадется ему — заяц, гусь, волк или красная лиса? Разве известно бойцу заранее, какой подвиг он совершит в бою?

Я был на том заседании. Слова Абуталиба запали мне в сердце.

Меня всегда удивляют люди, которые докучают писателю просьбами рассказать о его творческих планах на ближайшие годы. Конечно, общее направление своей работы писатель держит в уме. Наверное, можно запланировать написание романа или трилогии, но стихи... Стихи приходят неожиданно, как подарок. Хозяйство поэта не подчиняется жестким планам. Нельзя запланировать для себя: сегодня в десять часов утра я полюблю девушку, встретившуюся мне на улице. Или: завтра к пяти часам вечера я возненавижу какого-нибудь подлеца.

Стихи не похожи на цветы в розарии или на клумбах — там они все перед тобой, их не нужно искать, — но похожи на цветы в поле, на альпийском лугу, где каждый шаг обещает новый, еще более прекрасный цветок.

Чувства рождают музыку, музыка рождает чувства. Что же поставить на первое место? До сих пор не решен вопрос, что появляется сначала, яйцо или курица. Точно так же: писатель порождает тему или тема порождает писателя? Тема — это весь писательский мир, это весь писатель. Без темы его не существует. У каждого писателя она своя.

Мысли и чувства — птицы, а тема — небо; мысли и чувства — олени, а тема — лес; мысли и чувства — серны, а тема — горы; мысли и чувства — дороги, а тема — тот город, куда дороги ведут и где они сходятся.

Моя тема — родина. Мне не надо ее искать и выбирать. Не мы выбираем себе родину, но родина с самого начала выбрала нас. Не может быть орла без неба, горного тура без скалы, форели без быстрой и чистой реки, самолета без аэродрома. Так же не может быть писателя без родины.

Орел, ходящий лениво меж кур на дворе, — уже не орел. Тур, пасущийся в колхозном стаде, — уже не тур. Форель, плавающая в аквариуме, — уже не форель. Самолет, стоящий в музее, — уже не самолет.

Точно так же не может быть и соловья без соловьиной песни.

ЕЩЕ О ТЕМЕ. С детства мне дорога одна картинка. Если откроешь, бывало, маленькое окно отцовской сакли, сразу увидишь широкое зеленое плато, расстелившееся, словно скатерть, у ног аула. Скалы со всех сторон наклонились над ним. В скалах извиваются тропинки, которые в детстве мне напоминали змей, а отверстые входы в пещеры всегда были похожи для меня на пасти зверей. За первым рядом гор виднеется второй ряд. Горы округлы, темны и как будто мохнаты, словно верблюжьи спины.

Теперь я понимаю, что где-нибудь в Швейцарии или Неаполе есть места и покрасивее, но где бы я ни был, на какую бы земную красоту ни смотрели мои глаза, все же я сравниваю увиденное с далекой картиной моего детства, с картиной, вставленной в маленькую

рамочку окошка сакли, и вот перед ней бледнеют все остальные красоты мира. Если бы не было у меня почему-либо родного аула и его окрестностей, если бы не жили они в моей памяти, то весь мир был бы для меня грудью, но без сердца, ртом, но без языка, глазами, но без зрачков, птичьим гнездом, но без птицы.

Это вовсе не значит, что я свою тему замыкаю в тесные пределы своего аула и своей сакли, это не значит, что я возвожу вокруг своей заповедной темы высокие крепостные стены.

Бывает поле, на котором срезаешь плугом толстый пласт земли, но под срезанной землей виднеется новая мягкая земля. Бывает поле, на котором срезаешь плугом тонкий пласт земли, но под срезанной землей — жесткие камни. Бывает поле, на котором не срезаешь еще и тонкого пласта, а камни уже видны. Я не намерен пахать и разрабатывать такое поле, ибо я знаю — доброго урожая на нем не будет.

Свою любовь к родной земле я не хочу держать на привязи или стреноженной, как коня, который хорошо потрудился, а теперь должен пастись на зеленом приволье. Я снимаю с коня уздечку, я похлопываю его по влажной горячей шее: иди пасись, набирайся сил. В моем чувстве родины есть что-то доброе и спокойное, как в коне, пасущемся на свободе.

Я не хочу все явления мира искать в моей сакле, в моем ауле, в моем Дагестане, в моем чувстве родины. Наоборот, чувство родины я нахожу во всех явлениях мира и во всех его уголках. И в этом смысле моя тема — весь мир.

Помню, в далеком и сказочном Сантьяго меня разбудили петухи. Я проснулся, и несколько мгновений мне казалось, что я нахожусь в маленьком каменном ауле. Так сантьягские петухи оказались моей темой.

В Японии, в еще более сказочном городе Камакура, я присутствовал, когда выбирали королеву красоты. Японские красавицы проходили чередой перед нами. Я невольно сравнивал их с той, с моей единственной, оставшейся в аварских горах, и не находил в них того, что есть в моей королеве. Так японские красавицы и даже японская королева красоты оказались моей темой.

В Непале, вдоволь налюбовавшись на буддийские храмы, на королевские дворцы, на двадцать два источника, отгоняющих все болезни, все чары и вообще все зло мира, я в конце концов поднялся на крутые высоты Катамандских гор. И вот эти горы напомнили мне родной Дагестан, и сердцу при виде их стало теплее, чем при виде важных и пышных дворцов и храмов. Обыкновенные горы оказались для меня дороже причудливых архитектурных сооружений. Я подумал, что не волшебные источники, но эти горы могут прогнать все болезни, а из сердца все зло. Так буддийские храмы и горы Непала оказались вдруг моей темой.

После больших и шумных индийских городов меня привезли в небольшую деревеньку близ Калькутты. На просторном гумне шла молотьба, быки кружили по золотым пшеничным снопам. Ни один музей, ни один театр в мире не доставил столько радости моему сердцу, как эти медленные быки, мнущие, молотящие своими копытами золотые пшеничные снопы. Словно я побывал и в родном ауле, и в детстве. Так индийская деревенька близ Калькутты оказалась моей темой.

Я ВИДЕЛ: в горах Индонезии бьют в барабаны так же, как у нас в горах; по улицам Нью-Йорка ходил кавказец в черкеске; в Стамбуле и Париже живут печальные горцы-самоизгнанники, самые несчастные люди на земле; в Лондоне на выставке демонстрировалась керамика — изделия балхарцев, прославленных гончаров; в Венеции поражали зрителей канатоходцы из лакского аула Цовкра; у букиниста в Питтсбурге я наткнулся на книгу о Шамиле.

Отовсюду, от любого места, куда бы я ни уехал, протягиваются ниточки к Дагестану.

Плохо воину, когда с саблями нападет на него сразу несколько человек. Он не может защитить себя одновременно и со спины и спереди. Но если найдется скала, о которую можно опереться спиной, дела не так еще плохи: ловкий и сильный боец может сразить и двух, и трех врагов, если он опирается спиной о скалу.

Дагестан и есть для меня такая скала. Он помогает мне выстоять в самые трудные минуты.

Путешественники привозят домой песни тех стран, где они побывали. И только со мной беда — куда бы я ни поехал, я отовсюду привожу песни о Дагестане. С каждым новым стихотворением я словно узнаю его заново, понимаю заново и люблю заново. Неисчерпаем и бесконечен для меня родной Дагестан.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

— Орел, о чем твоя самая любимая песня?
— О крутых горах.
— Чайка, о чем твоя самая любимая песня?
— О синем море.
— Ворон, о чем твоя самая любимая песня?
— О лакомых мертвецах на поле брани.

В литературе тоже свои птицы: орлы и чайки. Один воспевает горы, другой воспевает море. У каждого своя родина, своя тема. Но есть и вороны. Эти больше всего любят самих себя. Ворон, когда выклевывает глаза у мертвых на поле боя, не задумывается — то ли это глаза героя, то ли это глаза труса. Я знаю литерато-

ров, которые сегодня делают то, что выгодно делать сегодня, а завтра будут делать то, что будет выгодно делать завтра.

ЕЩЕ О ТЕМЕ. Тема — сундук с добром. Слово — ключ от этого сундука. Но добро в сундуке должно быть свое, а не чужое.

Иные литераторы прыгают от одной темы к другой, не успевая разработать ни одну из них. Они приоткрывают крышку сундука, ворошат верхнее тряпье и поспешно бросаются дальше. Хозяин же сундука знал бы, что если бережно вынуть одну вещь за другой, то на дне окажется шкатулка с заветными драгоценностями.

Порхающие от одной темы к другой похожи на известного в горах многоженца Далаголова. Он ухитрился жениться двадцать восемь раз, но в конце концов остался совсем без жены.

Однако нельзя тему сравнить и с единственной законной женой. Ни с единственной матерью, ни с единственным ребенком. Потому что нельзя сказать: это моя тема, не смейте никто до нее дотрагиваться.

Тема моя, но она открыта и для всех других. Я слышал, как один писатель клял другого за то, что тот «украл» его тему. Он говорил: «Кто дал тебе право писать об Ирчи Каза́ке?[1] Ты же знаешь, что это моя тема, что об Ирче Казаке пишу я. Это самое явное воровство!» И этот писатель волновался так, словно только что похитили его возлюбленную.

Ответ был достоин горца:

— Имамом становится тот, у кого злее и отважнее сабля. Невеста принадлежит не тому, кто послал к ней в дом сватов, а тому, кто сделал ее своей женой. Пусть тема об Ирчи, как и всякая тема, останется за тем, кто лучше напишет.

Да, разные писатели самостоятельно друг от друга могут разрабатывать одну тему. В литературе не может быть колхозов. У каждого писателя свое поле, своя полоса, как бы узка она ни была. Но я никому не запрещаю подходить к моему полю только на том основании, что сам я уже к делянкам не подхожу. На моей меже вы не увидите ни собаки, ни сторожа с ружьем. Да и где она, моя межа, как ее провести и чем оградить? Моя тема не запретный луг и не запретное место в мечети, куда не должна ступать нога постороннего человека.

Был съезд писателей Дагестана, а на съезде был спор. Один оратор сказал:

— Зачем дагестанцам писать о других землях и о других народах? Пусть об Испании пишут испанцы, а о Японии японцы, об уральской индустрии пусть пишут писатели, живущие на Урале. Если у птицы гнездо в саду, разве она полетит в другой сад, чтобы там петь свои песни? Надо ли с каменистых гор носить землю в долину, где и без того много прекрасной плодородной земли? Курдюк, состоящий из жира, надо ли мазать еще и маслом, если захочешь его поджарить?

На съезде присутствовал гость из другой республики. Он ответил оратору так:

— У зверя есть логово, так же как у птицы гнездо. Но солнце освещает всех зверей и дождь поливает все деревья. Радуга одинаково сияет для всех глаз. Молния сверкает и высоко в горах, и в глубоких ущельях. Там же гремит и гром. Прекрасный плов можно приготовить из риса, который привезли из чужой страны. Я приехал на ваш съезд издалека. Я приехал только затем, чтобы вас поздравить. Но теперь я чувствую, что полюбил ваши горы, ваше море, ваших благородных мужчин и полных достоинства красивых женщин. Если напишу о вас, то мои земляки скажут мне спасибо. Если же вы напишете о моей земле, тоже не будет вреда. Выбор писателя свободен, как выбор любви. Разве любовь спрашивает позволения поселиться в чьем-либо сердце?

Съезд аплодировал гостю, его слова были точны и остры, как стрелы, и все же, когда я тоже аплодировал и почти полностью соглашался с ним, раздумья не оставляли меня.

Хорошо писать о других странах и о других народах, но только после того, как ты утвердился в своей теме.

Мой маленький Дагестан и мой огромный мир. Два ручья, которые сливаются в один поток, достигнув долины. Две слезинки, которые вытекают из двух глаз и текут по двум щекам, но рождены одним горем или одной радостью.

Капли на щеки поэта упали,
На правой щеке его и на левой.
То капля радости — капля печали,
Слезинка любви — и слезинка гнева.

Две маленьких капли, чисты и тихи,
Две капли бессильны, пока не сольются,
Но, слившись, они превратятся в стихи,
И молнией вспыхнут, и ливнем прольются.

Перевел Н. Гребнев.

Мой маленький Дагестан и мой огромный мир. Вот моя жизнь, моя симфония, моя книга, вот моя тема.

Орел, который не улетает от высоких скал на широкие просторы долины, — плохой орел.

Орел, который не возвращается с широких просторов долины на высокие скалы, — плохой орел.

Но орлу легко. Он родился орлом и не может, если даже захочет, превратиться ни в чай-

[1] Ирчи Казак — кумыкский поэт прошлого века, зачинатель кумыкской литературы.

ку, ни в ворона. Трудно пнсателю стать орлом, если он не родился с качествами этой благородной и мужественной птицы.

О человеке, который не научнлся нграть на кумузе, у нас утешнтельно говорят: ничего, он научнтся играть на том свете.

Сколько пнсателей берутся за перо и садятся за бумагу, руководствуясь не чувствами любвн нли ненавнсти, но еднннственно чувством обоняння!

Ведь н гость, прншедший в аул н думающнй, в какую бы саклю зайтн, выбнрает себе наконец саклю по запаху дыма нз трубы. Однн дымок пахнет кукурузной лепешкой, а другой — вареной баранннной.

Ведь и женнх иногда нз двух девушек, нз которых одна пуста, а другая умна, выбнрает пустую только за то, что у нее больше денег.

Ведь есть и писатели, которым совсем безразлично, о чем или о какой страие пнсать. Они похожи на тех спекуляитов, которые думают, что чем дальше они уедут, тем дороже продадут свой товар.

Оии иапомииают мие также некую Пархалше, которая считала, что в родном ауле иет для иее подходящего пария, надеялась иа жеиихов из другого аула, ио в конце коицов, как иетрудно догадаться, осталась старой девой.

ПРИТЧА О ДВУХ ГОРЦАХ, ХОДИВШИХ В ЛЕС. Два горца пошли из аула в лес, чтобы найти и срезать палки для ярма. Старые, как видио, изиосилнсь.

Первый горец сразу же нашел подходящее дерево, срезал два великолепиых сухнх сучка. Одиако его товарищу все казалось, что следующее дерево будет лучше, а следующее еще лучше. Так целый деиь ои бродил по лесу, не имея снл остаиовиться и выбрать то, что нужио. В конце концов ои срезал два сучка гораздо хуже тех, что попадались вначале. Домой ои вериулся к вечеру, когда первый горец ехал с поля, вспахав его при помощи иового ярма.

Эту притчу мие рассказал Абуталиб по случаю того, что один дагестанский поэт вернулся из далекой командировки и прнвез два плохих стихотворення.

— Песие, которой ие научился в родном дому, не научнשься вдалеке от родного дома, — заключил старый поэт свое поучеиие, а потом добавил: — Поэты иногда подобны горцу, который целый деиь нскал папаху, в то время как она спокойио пребывала на его дурной голове.

ЕЩЕ О ТЕМЕ. Был день, когда я впервые покидал родиую саклю, отправляясь в путь. Мать поставила иа окно зажжеииую лампу. Я шел, оборачивался, снова шел, но огоиек родиой сакли мигал мие сквозь туман и мглу.

Огонек на маленьком окне мигал мне сквозь многие годы, пока я колесил по свету. Когда же я вернулся в родной дом н посмотрел в это окно нзнутрн дома, я увидел весь огромный мнр, который мие удалось исколеснть за свою жизнь.

Кто же даст пнсателю тему? Легче дать ему голову, глаза, ушн, сердце. Писателн, которые нщут тему не по любвн нли ненавнстн, но по запаху, а еще точнее, по нюху, не могут сделаться сыновьямн своего времени. Онн детн не временн, а дня. А еще онн похожн иа глухую невесту.

ПРИТЧА О ГЛУХОЙ НЕВЕСТЕ. Жнла, как говорят, в одном ауле глухая девушка. Жених нз другого аула, нничего не зная о ее глухоте, прнслал сватов. Дело сладилось, началась свадьба. Народу собралось виднмо-невиднмо. Невесте ие хотелось, чтобы все пришедшие иа свадьбу узналн о ее глухоте. Она попросила свою подругу, чтобы та все время сидела с ией рядом. И если будут рассказывать веселое, такое, чтобы смеяться, то подруга должиа была ущипнуть ее за левое плечо. Если иачнется печальный, грустный рассказ, то подруга щипала справа.

Говорить самой невесте иа свадьбе вовсе ие обязательно, даже лучше ей иичего ие говорить. Поэтому иекоторое время все шло хорошо. Невеста смеялась там, где нужно было смеяться, и стаиовнлась печальной, когда печалнлись все вокруг.

Но потом подруга забыла условие, перепутала н начала щипать справа, когда требовалось щнпать слева, и наоборот. Невеста хохотала в мнннуты печалн и задумчивой тишины и горестно стонала н вздыхала, когда всем было весело.

Женнх начал приглядываться к иевесте, пригляделся и решнл, что оиа совсем глупа. И тотчас отправил ее по той дороге, по которой она прнехала.

Итак, иастоящий пнсатель не должеи нуждаться в щипках то справа, то слева, подобно глухой невесте. Только боль собственного сердца, только собственная радость заставляют его браться за перо. Он смеется не потому, что другие смеются и иужно подлажнваться к другим, не потому, что другие горюют и нужно горевать заодно со всеми. Нет, ои сам должеи задавать тон на свадьбе. Пусть будет весело всем вокруг, когда засмеется поэт. Пусть боль сожмет сердце, когда поэт поделится болью своего сердца.

Если же кто не согласеи со мной и до сих пор считает, что легче писать по подсказке, пусть ему будет поучеиьем следующее событие, которое произошло со мной.

ВОСПОМИНАНИЕ. Тогда я учился во втором классе в начальной школе Хунзахской крепости. За одной партой со мной сидела синеглазая девочка, дочка русской учительницы Нина. Она мне очень нравилась, но я не осмеливался сказать ей об этом. Наконец я решил написать записку. Но и это было не просто, потому что в то время я еще не умел написать по-русски ни одного слова. Я обратился со своей заветной просьбой к приятелю. Он говорил мне какие-то непонятные русские слова, а я записывал их русскими буквами. Я думал, что пишу прекрасные слова о любви, какие мне хотелось бы сказать Нине. Дрожащими руками я передал записку своей соседке, дрожащими руками она развернула ее и вдруг покраснела, и убежала из класса, и больше не захотела сидеть со мной за одной партой. Оказывается, вся моя записка состояла из мерзких, отвратительных непристойностей.

Вспоминаю еще один случай. Я учился уже в Литературном институте, а Нина — в Педагогическом имени Ленина. Однажды в декабре она пригласила меня в гости. Я знал, что этот день — день ее рождения. Конечно, я позаботился о подарках, но лучшим подарком, мне казалось, будет, если я напишу стихи об имениннице и прочту их вслух, а потом торжественно преподнесу.

Итак, я написал поздравительное стихотворение, уговорил моего однокурсника, тоже молодого поэта, перевести его на русский язык. Целую ночь мой товарищ трудился над переводом. Когда же он прочитал мне его, я не узнал стихотворения. Там были сентиментальные излияния, порывы роковой страсти, но не было ничего из того, что я хотел сказать Нине.

Теперь меня трудно было провести. Я уже был стреляный воробей, я сказал:

— Ладно, это стихотворение ты прочтешь своей любимой, когда у нее будет день рождения, потому что это твое стихотворение, а не мое.

ЕЩЕ О ТЕМЕ. Тема не плавает на поверхности брюхом кверху, как уже уснувшая рыба. Она в глубине, на быстрине, в самой светлой и упругой струе. Сумей поймать ее там, сумей выхватить ее из водоворота, из-под водопада. Разве одна цена деньгам, заработанным долгим, тяжелым трудом — и случайно подобранным на тротуаре?

Горцы говорят: можно много зверей поймать, но все это будут шакалы или зайцы. Лучше одного зверя поймать, но чтобы это была лиса. Неизвестно, где ее поймаешь. Не обязательно самый хороший зверь живет в самом дальнем ущелье.

Один охотник всю жизнь мечтал поймать черно-бурую лису. Всю жизнь он охотился за ней, исходил все горы вдоль и поперек. Под старость ему тяжело стало делать большие переходы и он стал охотиться в ближнем ущелье, почти около сакли. И вот ему попалась черно-бурая красавица. Охотник спросил у лисы:

— Где же ты пряталась до сих пор, я искал тебя всю жизнь?

— А я всю жизнь живу в этом ущелье, — ответила лиса, — но разве ты не знаешь, что если даже на поиски потратить всю жизнь, все равно для находки нужен один день и даже одно мгновенье?

Да, у каждого писателя бывает один день, когда он открывает самого себя, находит свою главную тему. Такой теме писатель не должен потом изменять. Если же он изменит, то с ним может случиться то же, что случилось с одним моим знакомым.

ИТАК, О ПЬЕСЕ МОЕГО ЗНАКОМОГО. Один дагестанский писатель написал пьесу из колхозной жизни. Но как ни важна была тема, театр все же не принял пьесу, объясняя отказ самой неуважительной причиной: пьеса, мол, попросту не понравилась.

Может, для кого другого эта причина и могла показаться уважительной, но только не для самого драматурга. Драматург обиделся и написал заявление куда следует. Тотчас была создана комиссия для изучения вопроса и принятия мер. При изучении обнаружилось следующее содержание пьесы: распевая веселые песни, две бригады соревнуются одна с другой на уборке богатого урожая пшеницы.

Такое содержание вполне устроило бы комиссию и пьеса пошла бы как по маслу, но тут примешалось дополнительное обстоятельство: к этому времени было принято решение сеять в кумыкских степях (а именно там веселые бригады, соревнуясь, собирали урожай) вместо пшеницы хлопок. В этих «хлопковых» условиях ставить «пшеничную» пьесу было никак нельзя. Драматург, не долго думая, уселся за переработку своего произведения. Не успел вновь посеянный хлопок зацвести, как все было сделано в лучшем виде. Пьесу снова начали читать в театре. А пока ее читали, было принято новое решение. В нем говорилось, что хлопок в кумыкских степях еще невыгоднее, чем пшеница, и что нужно выращивать кукурузу.

Работоспособный драматург вновь принялся за переделку пьесы. Не знаю, чем кончилось бы дело, но в это время сгорел театр. Мой знакомый разозлился на свою неудачу, пошел на крутой берег реки и в досаде швырнул свою пьесу в бурные воды. Теперь он о пьесе не жалеет.

Расскажу, пожалуй, еще и о другой пьесе. Написал ее один русский литератор, а называ-

лась она «Кипучие люди». Это была уж не «хлопково-пшеничная» пьеса, а «рыбацкая». И даже не «рыбацкая», а вот о чем.

Существует стремление переселить всех горцев из их вековых аулов вниз, на ровное место, к морю. Называется это — переселить «на плоскость». Не будем разбирать сейчас всей этой сложной проблемы, скажем только, что горцы, занимавшиеся испокон веков разведением овец, становятся на плоскости иногда рыбаками. Чем плохой рыбак лучше хорошего чабана — тоже не так просто выяснить, но в пьесе «Кипучие люди» как раз и говорилось о том, как горцы из дальнего аула стали рыбаками Каспия.

Действующие лица пьесы все были аварцами, и поэтому драматург показал свое новое произведение аварскому театру. Но аварский театр забраковал пьесу.

Что оставалось делать драматургу? Другой бы на его месте, вероятно, растерялся и упал духом. Но бывает ведь в шахматной партии: черные, например, так стеснены, так загнаны в угол, что некуда деваться, даже нельзя вздохнуть; вдруг в этот момент черные делают ход конем, очень неожиданный простенький ход, — и вся партия неожиданно меняется; теперь уж белым нужно переходить в оборону, уносить ноги, пока не поздно.

Такой-то простенький ход и сделал тогда автор «Кипучих людей». Неожиданно он поменял в пьесе все аварские имена на кумыкские и предложил пьесу кумыкскому театру. Однако и ход конем не улучшил положения. Кумыкский театр отказался ставить пьесу о чабанах, превращающихся в рыбаков.

У нас в Дагестане много народностей. Герои пьесы побывали и в даргинцах, и в лезгинах, но, кажется, хорошими рыбаками так и не сделались. Словно голодную собаку, которую нечем прокормить дома, выпустил драматург свою пьесу в люди. Собака обегала много чужих дворов, но нигде не нашла ни одной кости.

Спустя несколько лет драматург уехал учиться в Москву на Высшие литературные курсы. И вот до Махачкалы дошли слухи, что его рыбаки превратились в цыган. Пьеса заинтересовала цыганский театр «Ромэн». Наконец-то хромая невеста нашла себе мужа. Впрочем, и этот брак оказался недолгим...

Ну вот, раскритиковал я сразу две пьесы знакомых мне писателей. Если бы я стоял сейчас на трибуне на писательском собрании, уже давно бы услышал крики: расскажи про себя! самокритику давай!

Что же про себя говорить? Я был бы, наверное, счастлив, если бы мог сейчас повиниться только вот в таких писательских прегрешениях, о которых только что рассказал. Но я ношу в себе такой грех, перед которым все «хлопковые», «рыбачьи» и прочие на многие годы вперед грехи — детская забава, безделушки, ничто. В молодости я совершил поступок, о котором мне тяжело вспоминать.

Меня потом много и долго ругали мои друзья, и это было для меня наказанием. Но главное мое наказание я ношу в себе самом, и уж никто никогда не накажет меня больше.

ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Если совершишь недостойный, позорный поступок, сколько бы потом ни молился, сделанного назад не воротишь.

ОТЕЦ ЕЩЕ ГОВОРИЛ. Человек, совершивший позорный поступок, а потом через несколько лет начавший раскаиваться, подобен тому, кто хочет погасить долг старыми дореформенными деньгами.

И ЕЩЕ ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Если ты позволил сделать злу все, что оно хотело, и выпустил его из сакли на волю, что толку бить то место, где это зло сидело?

Зачем запирать двери на тяжелый замок после того, как быков уже угнали?

Все это так. И я знаю, что после драки кулаками не машут. Но читатели мои нет-нет да и напишут снова, напомнят, разбередят рану. Они как бы кидают камешки в мое окно и как бы говорят:

— Выгляни, покажись, Расул Гамзатов. Расскажи нам, своим читателям, как и почему все случилось.

— О чем я должен вам рассказать?

— Да вот. В тысяча девятьсот пятьдесят первом году ты написал стихи, очерняющие Шамиля, а в тысяча девятьсот шестьдесят первом году написал стихи, восхваляющие Шамиля. Над теми и над другими стихами стоит имя: Расул Гамзатов. Теперь мы хотим узнать — один и тот же это Расул или два разных. И какому Расулу верить.

Вопрос вопросов. Стрелу, попавшую в тело, можно выдернуть. Но можно ли выдернуть стрелу, попавшую в сердце?

Мой дорогой читатель, я не знаю твоего возраста, может быть, ты совсем еще юн. Были ли у тебя в жизни рубежи, границы, которые приходилось преодолевать? Мне пришлось перейти одну границу — я любил, не пытаясь серьезно разобраться в своем чувстве. Потом мне пришлось раскаиваться в этом.

Бывает, что окна соседей разделяет узкая улочка. В каждом окне по соседу друг против друга. И вот они ругаются, стараются обвинить в дурных поступках старший младшего или

младший старшего. Я похож на этих бранящихся соседей, но и в том и в другом окне — я сам. Только в одном окне молодой, а в другом такой, как сейчас.

Блеск времени ослепил меня, как красивая девушка ослепляет глупого парня. Я смотрел на все, как жених на невесту, не замечая ни малейших изъянов.

Если говорить серьезно, я был тенью времени. Известно же: какова палка, такова от нее и тень. Было решено, что Шамиль английский и турецкий агент и что главная его цель — разжигание вражды между народами. Я верил тому дому, в котором это было утверждено, я верил и хозяину того дома. Тогда-то я и написал стихи, разоблачающие нашего Шамиля.

Теперь мне говорят иногда, чтобы утешить:

— Мы слышали, будто ты написал эти стихи по специальному заказу, что тебя заставили их написать.

Неправда! Меня никто не насиловал, не принуждал. Я сам, добровольно, написал стихи о Шамиле и сам отнес их в редакцию. Просто я был похож тогда на иных горцев, которые листают Коран, не зная ни одной буквы поарабски и, значит, совершенно ничего не понимая, и все-таки испытывают сладкий восторг.

Я был тенью времени. Я не знал тогда, что поэт не может быть тенью, что он всегда огонь, источник света, независимо от того, слабенький ли это огонек или большое солнце. Свет не отбрасывает тени, от света — только свет.

Может быть, я понял это несколько поздновато. Что ж, даже яблоки бывают разных сортов. Одни созревают быстро, другие наливаются только к осени. Я, как видно, отношусь к осеннему сорту.

Так вот и было дело. Что касается моей раны, то она со мной.

Снова рана давнишняя, не заживая,
Раздирает мне сердце и жалит огнем.
...Был он дедовской сказкой. Я сызмальства знаю
Все, что сложено в наших аулах о нем.

Был он сказкой, что тесно сплетается с былью.
В детстве жадно внимал я преданьям живым,
А над саклями тучи закатные плыли,
Словно храброе войско, ведомое им.

Был он песнею гор. Эту песню, бывало,
Пела мать. Я доселе забыть не могу,
Как слеза, что в глазах ее чистых блистала,
Становилась росой на вечернем лугу.

Старый воин в черкеске оглядывал саклю,
Стоя в раме настенной. Левшою он был,
Левой сильной рукой он придерживал саблю
И оружие с правого бока носил.

Помню, седобородый, взирая с портрета,
Братьев двух моих старших он в бой проводил.
А сестра свои бусы сняла и браслеты,
Чтобы танк его имени выстроен был.

И отец мой до смерти своей незадолго
О герое поэму сложил...
Но, увы,
Был в ту пору Шамиль недостойно оболган,
Стал безвинною жертвою темной молвы.

Может, если б не это внезапное горе,
Жил бы дольше отец...
Провинился и я:
Я поверил всему, и в порочащем хоре
Прозвучала поспешная песня моя.

Саблю предка, что четверть столетья в сраженьях
Неустанно разила врагов наповал,
Сбитый с толку, в мальчишеском стихотворенье
Я оружьем изменника грубо назвал.

Ночью шаг его тяжкий разносится гулко.
Только свет погашу — он маячит в окне.
То суровый защитник аула Ахулго,
То старик из Гуниба, он входит ко мне.

Говорит он: «В боях и в пожарищах дымных
Много крови я пролил и мук перенес.
Девятнадцать пылающих ран нанесли мне.
Ты нанес мне двадцатую, молокосос.

Были раны кинжальные и пулевые,
Но тобой причиненная трижды больней,
Ибо рану от горца я принял впервые.
Нет обиды, что силой сравнилась бы с ней.

Газават мой, быть может, сегодня не нужен,
Но когда-то он горы твои защищал.
Видно, ныне мое устарело оружье,
Но свободе служил этот острый кинжал.

Я сражался без устали, с горским упорством,
Не до песен мне было и не до пиров.
Я, случалось, плетьми избивал стихотворцев,
Я бывал со сказителями суров.

Может, их притесняя, ошибся тогда я,
Может, зря не взнуздал я свой вспыльчивый нрав,
Но, подобных тебе пустозвонов встречая,
Вижу, был я в крутой нетерпимости прав».

До утра он с укором стоит надо мною.
Различаю, хоть в доме полночная тьма, —
Борода его пышная крашена хною,
На папахе тугая белеет чалма.

Что сказать мне в ответ? Перед ним, пред тобою,
Мой народ, непростительно я виноват.
Был наиб у имама — испытанный воин,
Но покинул правителя Хаджи-Мурат.

Он вернуться решил, о свершенном жалея,
Но, в болото попав, был наказан сполна.
...Мне вернуться к имаму? Смешная затея.
Путь не тот у меня и не те времена.

За свое опрометчивое твореиье
Я стыдом и бессоиницей трудной плачу.
Я хочу попросить у имама прощеиья,
Но в болото при этом попасть ие хочу.

Да и он извииений ие примет, пожалуй,
Мной обманутый, он никогда ие простит
Клевету, что в иезрелых стихах прозвучала.
Саблей пишущий ие забывает обид.

Пусть... Но ты, мой иарод, прегрешеиие это
Мне прости. Ты без памяти мною любим,
Ты, родная земля, не гляди иа поэта,
Словио мать, огорчеиная сыиом своим.

Перевел Я. Хелемский.

Не знаю, простили ли меня за те старые мои стихи дагестанцы, не знаю, простила ли за них тень Шамиля, но сам себе я их никогда не прощу.

Мой отец говорил мне:

— Не трогай Шамиля. Если тронешь, до самой смерти не будет тебе покоя.

Прав оказался мой отец.

Сыи горца, я с детства воспитаи не хлипким:
Терпел я упреки, побои сносил.
Отец за проступки мои и ошибки
Не в шутку, бывало, мне уши крутил.

Мне, взрослому, время наносит удары
И уши мне крутит порой докрасна,
Как крутит играющий уши дутара,
Когда, ослабев, зафальшивит струна.

Перевел Н. Гребнев.

Время! Из дней складываются годы, из лет — века. Но что же такое эпоха? Складывается ли она из веков? Или из лет? Или может стать эпохой и один день? Пять месяцев стоит дерево, покрытое зеленью, но одного дня, одной ночи хватает, чтобы все листья сделались желтыми. И наоборот. Пять месяцев стоит дерево, голое и черное, как уголь. И одного теплого светлого утра хватает, чтобы оно покрылось зеленью. Одного радостного утра хватает, чтобы оно зацвело.

Есть деревья, которые от месяца к месяцу меняют свой цвет, и есть деревья, которые никогда не меняют цвета.

Есть перелетные птицы, которые мечутся по земному шару в зависимости от времени года, и есть орлы, никогда не изменяющие своим горам.

Птицы любят лететь против ветра. Хорошая рыба плывет против течения. Настоящий поэт, когда ему велит сердце, восстает «против мнений света».

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Есть у меня один друг — аварский поэт. В прошлом году вышла новая книга его стихотворений. Все стихи в книге он распределил по разделам, словно по комнатам в своей городской квартире. Вот политические или, скажем, гражданские стихи — кабинет; вот интимные, любовные стихи — спальня; вот разные, общие стихи — гостиная; вот стихи о сельском хозяйстве, о хлебе, о чабанах... — не знаю, куда отнести эти стихи — разве что к кухне?

И разве не прав оказался певец, приехавший с гор в Махачкалу на состязание дагестанских певцов? Наш поэт, раскладывавший стихи по полочкам, попросил певца спеть по одному стихотворению из каждого раздела. Певец настроил кумуз, несколько минут помолчал, как бы собираясь с мыслями, и запел. Пел он долго. Все испугались: если это из одного раздела, а их всего четыре, то когда же он кончит петь? Но вот певец замолчал и остановил ладонью звучание струн. Продолжения не последовало. Оказывается, он в одну песню собрал главные мысли и главные чувства поэта. Поэт спросил у певца, зачем же он так сделал.

— Друг, — ответил певец, — вот мой кумуз и вот на нем три струны. Я не могу сначала играть на одной струне, потом на второй, потом на третьей.

ЕЩЕ О ТЕМЕ. Может быть, не все знают, что жил горец, который носил новые сапоги и очень боялся их запачкать. Он ходил только на носках. А однажды он попал в самую грязь, где ему было бы по колено. Бедняге пришлось встать на голову.

ТАК БЫВАЕТ. Поэты подчас словно не искусство создают, а участвуют в воскресных скачках. Ради того, чтобы шею коня на пять минут украсили призовым платком, они готовы до крови исхлестать коню бока. Платок придется все равно снять в этот же день, а раны не заживут долго. Они, как Алибулат из Телетля... Впрочем, вы ведь не знаете, как было дело с Алибулатом?

Однажды хунзахский наиб сказал своему нукеру Алибулату:

— Приготовься, завтра утром тебе нужно будет съездить в аул Телетль.

— Я готов, — ответил исполнительный нукер.

Еще не прояснились вершины горы, как Алибулат оседлал коня и выехал в путь. К обеду он уже возвращался в Хунзах. Когда он подъезжал к Хунзаху, ему повстречались знакомые горцы. Они спросили:

— Да сохранит тебя аллах, Алибулат, далеко ли ездил?

— Успел обернуться из Телетля.

— Какие дела водили тебя в Телетль?

— Я не знаю. О делах знает наиб. Он сказал мне вчера, что нужно съездить, вот я и съездил.

Есть такие алибулаты и в нашей литературной среде.

ЕЩЕ О ТЕМЕ. Видел я многих молодых людей, которые, прежде чем жениться, советуются не с самими собой, а со своими родственниками, с дядюшками и тетушками. У писателя же в его творчестве не может быть брака не по любви. В жизни от брака по совету тетушек все-таки родятся живые дети. Правда, говорят, чем сильнее любовь, тем дети красивее. У писателя от брака без любви рождаются только мертвые книги. Писатель, прежде чем вступить в союз со своей темой, должен прислушаться к своему сердцу.

О КНИГЕ МОЕГО ПРИЯТЕЛЯ. Не помню точно, в котором году, но вдруг заговорили о том, что стране нужны Гоголи и Щедрины. Появилась вдруг нужда в советской сатире.

Мой приятель — немного поэт, немного прозаик, немного редактор. Одним словом, литератор. Он живо откликнулся на призыв и написал книгу сатирических стихотворений, обрушив свою сатиру на клеветников, на подхалимов, на тунеядцев, на многоженцев и на другие отрицательные явления положительной в целом советской действительности.

Не успела книга появиться на прилавках магазинов, как один критик написал резкую статью. Он писал: «Лозунг о том, что нам нужны Гоголи и Щедрины, автор понял слишком прямолинейно и упрощенно. Теперь мы видим, какой мелкий и злобный человек жил рядом с нами. Теперь мы видим, какое у него крохотное и черное сердце. Где мог найти он тех людей, которых вывел в своей книге? Неужели такие люди есть в нашей советской стране? Нет, в советской стране таких людей быть не может. Они порождены мрачной фантазией мрачного человека, который своей клеветнической книгой льет воду на мельницу наших врагов».

Крупный начальник Мухтарбеков воскликнул, ударяя кулаком по столу:

— Ну где, где ты увидел, например, такого ленивого, нерадивого бригадира и к тому же пьяницу?!

— В нашем ауле видел, — смиренно отвечал автор.

— Это клевета. Я знаю, что в вашем ауле передовой колхоз. В передовом колхозе не может быть такого бригадира.

Короче говоря, сатира посыпалась на голову самого сатирика. Получилось, как на карикатуре в польском журнале. Там были нарисованы два балкона: один на первом этаже, другой на четвертом. На каждом балконе по человечку. Нижний человечек кидает в верхнего кирпичи, но кирпичи не долетают до четвертого этажа и, возвращаясь, ударяют по голове того, кто их кинул. Верхний же человечек спокойно кидает кирпичи вниз, и они тоже падают на бедную голову стоящего на нижнем балконе. Под карикатурой подпись: «Критика снизу и критика сверху».

Кто-то посоветовал неудавшемуся сатирику, что самое лучшее — признать себя виновным, и хорошо бы не один раз, а несколько, где только можно: и в газете, и в журнале, и на каждом собрании. Автор злополучной книги начал каяться, бить себя в грудь. Но этого оказалось мало. Большой начальник Мухтарбеков сказал:

— После твоих клеветнических стихов мы тебе не верим. Ты должен делом, пером своим доказать, что ты исправился.

Моему приятелю было все равно, что делать. Критиковать так критиковать, исправляться так исправляться. Он засел за работу и написал поэму «Трудолюбивая Маржанат». Героиня поэмы, передовая девушка, активистка, мигом сделала передовым весь колхоз, перевыполнила все планы и даже в конце концов заняла первое место в самодеятельности, спев песню собственного сочинения. Поэму немедленно напечатали в журнале, а также издали отдельной книгой. Но время немного переменилось. И вдруг те же самые критики, которые называли сатирика клеветником и очернителем, заявили, что он самый настоящий лакировщик. Большой начальник Мухтарбеков опять ударил кулаком по столу:

— Где это ты видел, чтобы у колхоза не было никаких недостатков? Где это ты нашел такой идеальный колхоз?!

Виновный на этот раз ничего не отвечал. Бывают такие узлы, что руками не развяжешь — туго, а зубами развязывать нельзя, потому что узел в каком-нибудь дерьме. Мой приятель понял, что перед ним как раз такой узелок, и только сидел, понурив голову.

Молчал он ни много, ни мало десять лет. Ни разу за все эти годы не пришел даже в Союз писателей. Один раз только пришел, когда распределяли квартиры. Тут уж, согласитесь, не прийти было никак нельзя.

Большого начальника Мухтарбекова вскоре сняли с его высокого поста за очковтирательство. Никто о нем не жалел.

Кстати, он очень любил купаться. Бывало, утром и вечером приезжал в большом черном ЗИМе на особый пляж и там в одиночестве погружал свои телеса в прохладные соленые воды Каспия. Дом его стоит у самого берега моря. Но никто не видел теперь Мухтарбекова купающимся. На общий пляж он ходить не хочет. Не может он, видимо, переломить себя и свою собственную гордыню.

ЕЩЕ О ТЕМЕ. Когда выйдешь на улицу, окажется, что вокруг — по земле, в кустарнике, на деревьях — порхает много птиц. Летают они и в небе, одни повыше, другие пониже:

ласточки, галки, вороны, воробьи, грачи. Среди этих птиц на все небо — один орел. Он выше всех, дальше всех от глаз, но все-таки если он есть в небе, то человек, вышедший из сакли на волю, в первую очередь увидит орла. Он выделяется и бросается в глаза именно тем, что он дальше всех и выше всех. А потом уж разглядишь и воробья, что сидит на кусте в пяти шагах от двери.

Но оттого, что увидел орла, не сделаешься орлом. Писатель, написавший о герое, не превращается в героя сам. Я знаю немало трусов, прославившихся героическими стихами. Ведь если бы поднялся из могилы отважный сын гор Махач Дахадаев, что бы он сказал некоему «ученому», пишущему диссертацию о нем?

— Как же ты можешь рассказывать о моей героической жизни, если не можешь отстоять перед редактором ни одной фразы из написанных тобой? Каждый редактор изменяет твои суждения обо мне, как он хочет, и ты ничего не смеешь возразить. Нет, ты не достоин писать диссертацию о таком человеке, как Махач Дахадаев, — вот что сказал бы отважный сын гор, если бы он встал из могилы.

Иным кажется, стоит взяться за великую тему — и сам тотчас станешь великим. Но самым великим является самое простое. В одной капле дождя спит потоп. Разница между великим человеком и ничтожным в том, что ничтожество умеет видеть только большие предметы и явления, не замечая ничего у себя под носом, а великий человек умеет видеть и большое и малое и даже в самом малом умеет найти и показать людям самое большое.

ВОСПОМИНАНИЕ. Бывает иногда так: талантливые писатели печалятся, а бесталанные ходят, подняв голову. Это происходит тогда, когда ценятся лишь благие намерения автора, а как написана его книга, каков талант написавшего ее, какова она по мастерству — не ценится всерьез. В таких случаях поучающих разводится больше, чем поучаемых, оценщиков больше, чем товара, болтунов больше, чем писателей.

Именно в такое-то время моего отца угораздило написать большую поэму о Шамиле. Поэма вот-вот должна была выйти в свет, как вдруг пришло предписание впредь и на все времена считать Шамиля англо-турецким агентом. Выходило, что двадцать пять лет Шамиль воевал не за свободу народов Дагестана, но ради обмана этих народов.

Каково же было моему отцу с его героической поэмой! Ему намекнули, что нехорошо в наше солнечное время копаться в древней истории и было бы лучше, если бы он написал новую поэму о чем-нибудь другом, более современном и более близком для читателя.

В те дни к отцу часто приходил друг нашего дома веселый поэт Абуталиб. Почти всегда он приходил со своей неразлучной зурной либо со свирелью.

— Гамзат, — говорил Абуталиб, устраиваясь поудобнее и налаживая зурну. — Не расстраивайся так сильно. Когда я был мальчиком и не писал стихов, я всегда играл на этой зурне. Не один год она кормила меня и мою семью. Любую мелодию, какую только попросят, умела играть она. Давай вспомним молодость, оставим на время наше стихотворство и займемся музыкой. Я буду играть на зурне, а ты, Гамзат, на барабане. Оно и легче.

— Что ты, Абуталиб. Если бы мы стали барабанщиками и зурначами, было бы полбеды. Все-таки зурнач играет, а под его музыку танцует танцор либо канатоходец. Зурнач стоит на земле, а канатоходец танцует на веревке. Ну, скажи, кому из них хуже, Абуталиб? Канатоходцы — это мы с тобой. Из нас хотят сделать канатоходцев и танцоров.

Веселый Абуталиб погрустнел, и вместе с ним погрустнела его зурна. Долго играл он молча, потом поднял голову и сказал:

— Трудное дело — писать стихи.

Вершина далекая кажется близкою.
С подножья посмотришь — рукою подать,
Но снегом глубоким, тропой каменистою
Идешь и идешь, а конца не видать.
И наша работа нехитрою кажется,
А станешь над словом сидеть-ворожить,
Не свяжется строчка, и легче окажется
Взойти на вершину, чем песню сложить.

Перевел Н. Гребнев.

ПРИТЧА О ПТИЧКЕ, ПОЖЕЛАВШЕЙ СРАВНИТЬСЯ С ОРЛОМ. Отара овец спускалась с гор в долину. Неожиданно с неба налетел орел, схватил и утащил ягненка. Все это видела маленькая птичка. Она решила: а почему бы и мне не поступить, как орлу. Да и что ягненок, унесу-ка я целого барана. Птичка взлетела повыше, сложила крылышки и бросилась вниз. Но дело кончилось тем, что она ударилась о бараний рог и убилась насмерть.

— Тоже и муха однажды хотела перекатить камень, — сказал чабан, держа на ладони мертвую птичку.

Так птичка, пожелавшая сравниться с орлом, добилась того, что ее сравнили с мухой.

ЕЩЕ О ТЕМЕ. Тема — любовь и тема — клятва, тема — мольба и тема — молитва. На Востоке говорят: молитва от повторения не портится; молитва от повторения делается еще ценнее.

Про тему этого сказать нельзя. Если будешь повторять все время одну и ту же тему, она измельчится и обесценится. Алмаз чем крупнее, тем дороже. Кому нужна алмазная пыль?

Однажды я написал стихи о русской учительнице Вере Васильевне. Увидел, что стихи

понравились и читателям и даже критикам. Я обрадовался и зачастил на ту же тему.

Мои стихи уподобились не тому вину, которое было в бочонке сначала, а тому вину, которое получилось после того, как бочонок сполоснули.

А можно под маркой старого вина подавать на стол вино, которое не перебродило. Расскажу еще, как делали мы иногда, угощая москвичей нашим вином.

Я и мои друзья-кавказцы, все мы каждый раз, возвращаясь в Москву из родных мест, привозили с собой вино. Соберешь друзей, откроешь бочонок — и начнется пир. Вино в бочонке старое, выдержанное, высокой марки. Друзья, выпив вино, похвалят, расскажут другим своим друзьям. Охотников до хорошего вина находилось много. Бочонок же, как известно, имеет дно. Иногда мы, грешным делом, покупали в буфете обыкновенное бутылочное вино, выливали его в бочонок и говорили, что это настоящее, крестьянское, из собственных погребов. Таких знатоков, которые могли бы нас разоблачить, не находилось. Только один гость попробовал, посмотрел на меня и покачал головой. Остальные же чем больше пили, тем больше пьянели, а чем больше пьянели, тем больше хвалили.

Так и мои стихи, с которыми я зачастил. Только отдельные, самые понимающие и строгие читатели качали головами и говорили:

— Э, брат, по этому же делу приходил и Далаголов.

Или еще они говорили:

— Для одного аула вполне достаточно одного дурака.

И тогда я понял, что делаю то же самое, что и мастера-деревообработчики делали со своими тростями.

Сейчас я расскажу все эти три истории по порядку.

Когда я был еще мальчиком, в наш аул каждый день приходил с ворохом писем и газет почтальон Курбанали. Это был балагур из аула Эбута. Разнося почту, Курбанали обязательно заходил к моему отцу посидеть, выкурить трубку, поговорить. Не знаю, почему для таких бесед он выбрал моего отца. Ведь тема его разговоров была одна и та же — о женитьбе. Вернее, о новой своей женитьбе, ибо он был из тех, кто женится через неделю, а разводится через месяц.

Как раз был период, когда он только что развелся и подыскивал себе молодую вдову. И, кажется, уже подыскал, потому что каждый день только и разговоров было о том, какая она красивая, какая молодая, какая приветливая.

Но вдруг разговоры о молодой вдовушке прекратились. Курбанали по-прежнему приходил каждый день, но рассказывал то о погоде, то о колхозных делах, о чем угодно, только не о предстоящей женитьбе.

— Да уж не женился ли ты, на ком думал? — догадался отец.

— Что ты, Гамзат, это я думал, а она-то, оказывается, вовсе не думала. А теперь мне нужно объездить весь Дагестан, чтобы найти молодую вдову.

Долгое время Курбанали не появлялся — знать, и правда ходил по аулам и искал. Почту в это время разносил его сын. Когда же незадачливый жених снова появился у нас в сакле, мы с нетерпением спросили:

— Ну как дела? Короткой, прямой была твоя дорога?

— Может быть, она и была бы прямой, но ее скривил Далаголов.

— Как так?

— Очень просто. Куда бы я ни пришел по своему делу, мне отвечали: опоздал. По этому же делу приходил Далаголов.

Дарбиш Далаголов был известный аварский донжуан. В 1938 году Дарбиш женился в восемнадцатый раз.

С легкой руки почтальона Курбанали пошла по Дагестану поговорка: «А, по этому же делу приходил Далаголов».

Вторая история — насчет одного дурака. Известно, что в каждом ауле живет по одному дураку. Это и хорошо. Когда много дураков — плохо, когда нет ни одного — тоже чего-то не хватает. Дураки друг друга хорошо знают и даже ходят в гости. По этому обычаю однажды к дураку из аула Хунзах пришел в гости дурак из аула Гортаколы.

— Салам алейкум, дурак!

— Ваалейкум салам, дурак!

Дальше все шло, как у двух кунаков. Сели около печки, пили, ели. На третий день дурак из Гортаколы собрался идти домой. Дурак-хозяин проводил гостя, как и полагается, с почетом, одарил гостинцами, вывел из аула. Дураки попрощались.

Обычай гостеприимства был соблюден. С первым шагом бывшего гостя с ним можно делать, что захочешь, ибо он уж больше не гость. Тогда-то хунзахский дурак подскочил к гортакольскому и ни с того ни с сего ударил его.

— За что же ты меня бьешь?

— Не ходи ко мне в гости. Разве не знаешь, что для одного аула достаточно одного дурака?

Иногда я думаю над этой притчей, и мне приходит в голову мысль, что, пожалуй, для одного аула достаточно и одного мудреца.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Богатый хан спросил бедняка:

— Что самое вкусное у утки? Если дашь правильный совет, награжу.

— Задок, — не задумываясь ответил бедняк.

Когда приготовили утку, хан попробовал, и ему очень понравилось. Он спросил у другого бедняка:

— Что самое вкусное у буйвола?

Второй бедняк тоже хотел получить награду, поэтому он ответил, как и первый:

— Задок.

Хан попробовал и дал советчику горячих плетей.

Жалко, что нет плетей на писателей, которые, не задумываясь, повторяют друг за другом одно и то же по разным поводам.

А ТЕПЕРЬ О НАДПИСИ НА УНЦУКУЛЬСКОЙ ПАЛКЕ. Московский литератор Владлен Бахнов прихрамывает и ходит с палкой. Уезжая в Дагестан на каникулы, я обещал привезти ему красивую палку работы прославленных унцукульских мастеров. Приехав домой, я первым делом написал знакомому резчику в Унцукуль о своей просьбе. Резчик был старый мастер, кунак моего отца, и можно было надеяться, что палка будет что надо. Не знал я только, какую надпись сделать на этой палке.

В это время в центральной газете появилась большая статья на литературные темы. Называлась она «Дубинка вместо критики».

«Ага, — подумал я, — вот какая надпись будет кстати на палке, подаренной московскому литератору».

Через две недели палка была готова. Это была лучшая из всех унцукульских палок. На нужном месте красовались следующие слова: «Вл. Бахнову. Дубинка вместо критики. От Расула Гамзатова».

Вообще-то унцукульские палки продаются в магазинах сувениров в Махачкале, Кисловодске, Пятигорске, а то и в горных аулах на базарах.

Спустя несколько месяцев во всех этих местах появились вдруг палки с одинаковой надписью: «Вл. Бахнову. Дубинка вместо критики. От Расула Гамзатова». Вероятно, удивлялись курортники, покупая сувениры с такой надписью. Но всех больше удивился я сам.

Оказывается, старый мастер, который делал самую первую палку, не знал ни слова по-русски. Он механически перевел на свое изделие то, что я ему написал на бумажке. Он подумал, что если поэт пожелал иметь на палке именно эти слова, значит, в них заключена какая-нибудь большая мудрость. Тогда почему же этим словам не красоваться и на всех других палках?

Старого мастера винить нельзя. Он наивно доверился поэту и был в своей доверчивости добрым и искренним. Но не бываем ли иногда на него похожи и мы, опытные литераторы?

ПОСЛЕДНЕЕ, ЧТО Я ХОЧУ СКАЗАТЬ О ТЕМЕ. Есть одна тема, которая, подобно молитве, чем больше повторяется, тем становится драгоценнее, возвышеннее, богаче. Тема — молитва, тема — родина.

Когда наказывают ребенка за какую-нибудь шалость, разрешается, по горскому обычаю, ударить его по любому месту, но не разрешается бить по лицу. Лицо человеческое неприкосновенно, и это закон для любого горца.

Дагестан — ты мое лицо. Я запрещаю трогать тебя.

Горцы бывают очень терпеливы в ссоре. Много недобрых слов наговорят они друг другу, и каждый терпит и отвечает на обидные слова своими обидными словами. Но так происходит до той поры, пока недобрые обидные слова касаются только самих поссорившихся. Горе, если нечаянным, неосторожным словом будет задета честь матери или честь сестры, — в дело идут кинжалы.

Дагестан — ты мать для меня. Пусть помнят об этом все, кому придется со мной ссориться. Можно обидеть меня любым обидным словом — все стерплю. Но не трогайте моего Дагестана.

Дагестан — моя любовь и моя клятва, моя мольба и моя молитва. Ты один — главная тема всех моих книг, всей моей жизни.

Иногда просят рассказать только о твоем вчерашнем дне, о старинных обрядах и обычаях, о легендах и песнях, о свадьбах и саблях, о битвах и дружбе, о железных мюридах и верных девах, о благородстве и мужестве, о крови юношей и о слезах матерей.

Иногда просят рассказать только о твоем теперешнем дне. О совхозах и колхозах, о бригадирах и звеньевых, о библиотеках и театрах, о твоих трудовых подвигах.

Ни о том, ни о другом, ни о вчерашнем, ни о сегодняшнем я не могу рассказывать отдельно. Для меня есть один Дагестан, который прожил тысячелетие. Его прошлое, настоящее и будущее слились для меня воедино.

История других государств и земель давно уж написана не только кровью, но и чернилами, пером по бумаге. Не только солдатами и полководцами, но и писателями, историками. Историю Дагестана писали сабли. И только двадцатый век вручил Дагестану еще и перо.

Дагестан, я прошел по следам твоих древних битв, я побывал на бесчисленных полях сражений, засеянных костями твоих сынов. Пусть колхозные поля, засеянные пшеницей или кукурузой, не обижаются на меня за это. Ведь когда я говорю в стихах о современном Дагестане, прошлое не упрекает меня.

Когда я приезжаю из далеких зарубежных стран, горцы окружают меня и просят рассказать, что я видел. Они усаживаются в кружок и начинают слушать. На три часа хватает меня, и я рассказываю то о Франции, то об Индии,

то о Японии, то о Турции. Но после трех часов разговор сам собой незаметно переходит на Дагестан. Я рассказываю горцам о Дагестане, и они слушают меня, точно слышат впервые. Хотя они-то сами и есть Дагестан.

Махмуд был большой поэт. У него была главная тема — любовь к Мариам. Самый большой друг попросил Махмуда сочинить колыбельную песню, потому что родился сын. Махмуд попробовал, но ничего у него не вышло. Ребеночек плакал в колыбели под песню Махмуда, хотя ему полагалось засыпать. Другой друг попросил Махмуда сочинить плач по умершей жене. Махмуд попробовал, но у него ничего не вышло. Люди не плакали, слушая сочиненный Махмудом плач. А некоторые даже улыбались.

Но до сих пор плачут люди, когда поют песни Махмуда о несчастной любви к Мариам.

Мариам была главной темой Махмуда. А у меня — Дагестан. Велика любовь моя или очень мала, мелка моя правда или глубока, стары или современны мои чувства, но я пишу о тебе, Дагестан. Когда я пишу, перо невольно дрожит в моей руке.

ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Если бахча у самой дороги, каждый, кто пройдет мимо, сорвет еще незрелый арбуз.

ГОВОРЯТ. Не берись за камень, который не сумеешь поднять. Не заплывай туда, откуда не сумеешь приплыть.

ГОВОРЯТ. Если вода в ручье по щиколотку, не подымай штаны выше колен.

ЖАНР

> Глупец поражает криком, мудрец — поговоркой, приведенной к месту.
>
> Весна настала — пой песни. Зима настала — сказки рассказывай.

Вот стою я перед горой, которую нужно перевалить. Добрый конь перевезет меня через любой перевал. Гора — моя тема, конь — мой язык. Но нужно теперь мне выбрать тропу, по которой я буду преодолевать крутую гору.

Все мои предки-горцы любили прямую тропу. Она труднее, опаснее, но короче... Она может погубить, но зато и к цели приведет скорее.

Или вот я стою перед крепостью, которую нужно взять. У меня есть прекрасное оружие, которое не подведет в бою. Крепость — моя тема, оружие — мой язык. Но нужно выбрать способ, которым легче взять неприступную крепость. То ли неожиданно штурмовать, то ли предпочесть медленную осаду.

Есть поле, засеянное просом, и есть вода в горном ручье. Но как эту воду провести на поле?

Есть дрова в очаге, есть кастрюля и кое-что из того, что в кастрюлю кладут. Но все же какое блюдо варить на обед?

Редактор в своем письме разрешил выбрать мне любой жанр: рассказ или повесть, стихотворение или статью. Чем больше возможностей, тем труднее выбрать.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. У нас в Литературном институте было так. На первом курсе — двадцать поэтов, четыре прозаика и один драматург. На втором курсе — пятнадцать поэтов, восемь прозаиков, один драматург и один критик. На третьем курсе — восемь поэтов, десять прозаиков, один драматург и шесть критиков. К концу пятого курса — один поэт, один прозаик, один драматург, а все остальные — критики.

Это, конечно, преувеличение и анекдот. Но ведь и правда многие начинают со стихов, потом переходят на прозу, потом на пьесы, потом на статьи. Впрочем, теперь стало модно переходить на киносценарии.

Иные короли и шахи меняют своих королев и шахинь, потому что те бездетны. Но именно после смены нескольких жен убеждаются, что виноваты в бездетности вовсе не королевы и не шахини. В то время как иной крестьянин живет всю жизнь с одной женой, и глядишь, у них человек двенадцать детей.

Я считаю так: пей вино и не чуждайся хлеба. Пой песни, но слушай и сказки. Пиши стихи, но не гони от себя и простой рассказ.

ПРОЗА. Было время, когда я лежал в колыбели и мать пела мне колыбельную песню. У нее была одна только песня, других не знала она. И хотя отец у нас был известный поэт, он не написал для своих сынов ни одной песни. Он любил рассказывать нам разные истории, случаи, притчи. Это была его проза.

О своих стихах отец не любил говорить. Помоему, он считал стихотворство несерьезным делом. Его серьезные дела были: пахать землю, чинить гумно, ухаживать за коровой и лошадью, очищать крышу от снега, а позже — принимать посильное участие в делах аула и даже района.

Написав стихотворение, отец не очень заботился, где оно будет напечатано. Ему было все равно — центральная газета или стенная газета аульских пионеров. Я замечал, что стенной газете он радовался даже больше.

Он часто вспоминал, что сказал Анасил Магомет своему сыну, прославленному певцу любви поэту Махмуду. Когда Махмуд, вроде блудного сына, истерзанный любовью и песнями о

любви, бледный и голодный, пришел домой и попросил есть, отец спокойно сказал ему:

— Ешь стихи, запивай любовью. Я устал пахать поля за тебя.

Конечно, и песня птице нужна, но все же основная работа птицы — строительство гнезда, добывание пищи, выкармливание птенцов.

На свои стихи отец смотрел точь-в-точь как на птичью песню. Красиво, приятно, но необязательно. Он смотрел на них как на «здравствуйте», которое говорят утром, как на «спокойной ночи», которое говорят, уходя спать, как на поздравление с праздником, как на выражение соболезнования во время горя.

Есть мнение, что поэты в чем-то не от мира сего — у каждого свой особенный нрав. Отец же был по характеру и по складу своему обыкновенный горец. Больше всего он любил неторопливую беседу, когда сидящие в кружке рассказывают, не перебивая друг друга, разные истории и события, то есть опять же прозу.

Свои первые стихи отец показал славному Махмуду. Поэт удивился стихам отца и сказал, что они ему непонятны и что вообще он не понимает, как это можно сочинять стихи о корове, о тракторе, о собаках, о тропинке в аул Хунзах.

— О чем же сочинять? — смиренно спросил отец.

— О любви, и только о любви! Надо строить дворец любви.

СТИХИ МАХМУДА:

Чертоги любви я воздвиг на земле,
А сам под забором лежу я в ненастье.
Построил я царственный мост нашей страсти,
Но рухнул мой мост, я один на скале.

Перевел С. Липкин.

Отец не строил дворца любви. Да у него и не было заботы его строить. Его заботой, его дворцом, тем, что наполняло его стихи, были сакля, семья, дети, аул, конь, страна, мир и земля, небо, дождик, солнце, трава.

Правда, однажды он написал стихотворение о любви, о любимой женщине. Но чтобы никто не мог прочитать этого стихотворения, он написал его по-арабски. Это было стихотворение только для нее и для себя.

Да, отец любил неторопливый мудрый рассказ. Перед вечером, в сумерки, он брал меня на колени, закрывал полой теплого душистого тулупа и рассказывал, рассказывал. Он говорил о тех, кто уехал далеко в чужие земли, и о тех, кто остался здесь, на родной земле. Он говорил о дорогах, о реках, о том, как распускаются цветы и зачем на них прилетают пчелы. Он говорил о том, как восходит солнце и как оно заходит. Он рассказывал о нравах, обычаях старины, о молитвах, творимых перед битвой.

Стоило ему поглядеть на небо, как он уж знал, будет ли завтра дождь или будет вёдро. Он знал, что если кругом идет дождь, а над аулом Телетль светит солнце, значит, на Хунзахское плато выпадет град.

Он рассказывал мне, сколько зерен в одном ржаном колосе и отчего появляется красивая радуга.

Если вдали показывался путник, шедший из аула в аул, отец мог подробно рассказать, кто этот путник, по какому делу он вышел в путь, у кого остановится ночевать...

Ах, зачем все это рассказывал мне? Лучше бы записывал на бумагу. Это была бы его проза, проза поэта Гамзата Цадаса.

Рассказ и жизнь для него были одно и то же. Мысль он считал рассказом, а рассказ мыслью. Стихи же он сравнивал со своенравным сердцем.

Лучше бы записал на бумагу все свои рассказы отец. Потому что все равно, когда я вырос, сердце у меня оказалось на первом месте. Когда мимо пролетает птица, я не задумываюсь, куда и зачем она летит, — я хочу схватить ее на лету. Как ни старался отец, но все же одну-единственную колыбельную песню матери я любил в детстве больше, чем все рассказы.

С песней прошло мое детство, с песней я прошел через юность, с песней возмужал, с песней же поседел.

Но теперь я понимаю, что, где б я ни скитался, какие бы песни ни пел, все время была скала, которая ожидала, когда прилетит орел, все время было дерево, которое ожидало, когда на нем птицы совьют гнездо, все время был дом, который ожидал, когда постучатся в дверь, была проза, которая ждала, когда к ней придет поэт.

И вот я опускаюсь на скалу, которая ждет меня, я стучусь в дверь, чтобы мне открыли и приняли меня в дом. Я понял, что не могу высказать в стихах всего, что увидел на земле, всего, что думаю и чувствую.

Я понимаю, что проза не песня, которую можно пропеть и стоя. Нужно садиться за стол, нужно закатывать рукава, нужно заводить будильник на ранний час, нужно заваривать крепкий чай, чтобы не уснуть ночью.

Что ж, если правильно заложить фундамент и правильно возвести леса, то строительство дома пойдет и дальше. Что это будет: рассказ, повесть, сказка, предание, легенда, раздумье или просто статья — я не знаю.

Одни редакторы и критики скажут мне, что я написал не роман, не сказку, не повесть и вообще неизвестно что. Другие редакторы и критики скажут, что это и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое.

А я не возражаю. Называйте потом как хотите то, что выйдет из-под пера. Я пишу не по

книжным законам, но по велению собственного сердца. У сердца же нет законов. Вернее, у него свои, не годящиеся для всех законы.

Про себя я думаю: не испорчу ли я вкус обеда, если высыплю в один котел и мясо, и рис, и фрукты, и перец, если одновременно добавлю и соли и меда? Или, напротив, это будет вкусное, необыкновенное блюдо? Пусть скажут те, кто будет сидеть за обедом.

Мой рассказ, мои раздумья, моя сказка! Бывало, в детстве в зимнюю ночь я не мог уснуть потому, что с нетерпением ожидал возвращения в саклю либо братьев, либо отца. Я прислушивался к скрипам и шорохам у дверей, и минуты превращались в часы.

В такие ночи дедушка садился около меня и начинал потихоньку рассказывать. То сказка, то песня, то мудрость, то прибаутка, то смешно, то страшно. Минуты и часы исчезали для меня, оставался только дедушкин голос и картины, которые рождало воображение. Отец или братья появлялись, перебивая дедушкину речь, и было жалко, что они своим приходом прерывали интересную сказку.

Потом, когда я сам стал большим и начал ездить по свету и спешил, как некогда отец или братья, к родной сакле, и чем ближе была она, тем чаще, тем нетерпеливее билось сердце, и я считал ущелья, которые оставались еще на пути, тогда кто-нибудь из спутников принимался рассказывать занятную историю, случай из жизни, сказку или быль, я заслушивался, но наступал конец дороги, и было немного жалко, что дорога кончилась и рассказчик не успел досказать свой рассказ.

Отец спрашивал:

— Ну, как вы перевалили через гору, как вам было в ущелье, не занесено ли оно снегом?

А я и не помнил ни горы, ни ущелья, ни снега. Я помнил то, что мне рассказывал словоохотливый спутник. Его рассказы превращали для меня крутые горы в ровную долину, а холодный снег в теплую вату.

Мои рассказы, мои раздумья! Сумеете ли вы для кого-нибудь скоротать долгую зимнюю ночь в ожидании близких или долгий зимний путь к родному тоскующему очагу?

В мои пресноватые рассказы для аромата, словно душистые травы в суп, я опускаю где одну, где две поговорки и пословицы.

Девушки из аула Таилух ставят на подбородке, ближе к краешкам губ, две маленькие яркие точечки. Пусть поговорки будут в моей прозе как эти две точечки на девичьем лице.

Словно в гладкую стенку угловатый тесаный камень, я вмазываю в мои рассказы воспоминания, строки из записной книжки. Не каждый камень годится в стену. Когда я вставлял некоторые из них и шел в своем рассказе дальше, у меня появлялось чувство, которое, наверное, знакомо религиозным людям, когда молитва продолжается, хотя молитвенное состояние уже нарушено. Неподходящий камень приходилось вынимать из стены.

Итак, от бурных стихов и песен я перехожу к спокойному рассказу, к прозе. Но если я решил на время расстаться с песней, то она не хочет расставаться со мной. Подобно ласковому котенку, она залезает ко мне под одеяло, когда я сплю. Подобно утреннему лучу солнца, брызнувшего из-за горы, она приходит ко мне в окно, едва я его открою утром. Она дожидается меня на дне бокала вместе с последними, самыми сладкими капельками вина. Она подкарауливает меня повсюду, словно женщина, которой неожиданно изменили, а подкараулив и заступив дорогу, говорит:

— Ты что, серьезно решил порвать со мной? Но подумай, сможешь ли ты прожить без меня. Ты тур, привыкший пастись в прохладном лесу. Ты лосось, привыкший к ледяной летящей струе. Неужели ты думаешь, что тебе понравится в тихом и теплом озере? Ну, что ж, если ты решил уходить, давай хоть посидим напоследок.

ПОЭЗИЯ, разве ты не знаешь, что я никогда не смогу расстаться с тобой? Могу ли я расстаться со всеми радостями, которые возникают во мне, со всеми слезами, которые родятся во мне?

Ты похожа на девочку, которая родилась, когда все ожидали сына. Ты похожа на девочку, которая родилась и как бы самим рождением своим говорит: «Я знаю, вы не ждали меня и никто из вас пока что меня не любит. Ну что же, дайте мне вырасти и расцвести, дайте мне расплести косу и спеть песню. Посмотрим, найдется ли тогда человек на земле, который посмел бы не полюбить меня».

ПОЭЗИЯ.

Бывает работа, после работы — отдых,
Бывает поход и привал на десять минут.
Ты для меня и поход, и привал во время похода,
Ты для меня и отдых, и каторжный труд.

Песней была колыбельной, дремала в моем изголовье,
Была ты мечтою о подвиге и о весне.
Ты для меня родилась вместе с моей любовью,
Но вместе со мною любовь родилась во мне.

Был я мальчишкою — матерью ты мне казалась,
Любимой мне кажешься нынче, а стану седым —
Дочерью будешь беречь мою старость,
Сгину — ты памятью станешь над прахом моим.

Порою ты кажешься мне неприступной горою,
Порой ты мне кажешься птицей, послушной, ручною,
Ты — крылья в полете моем,
Ты — оружье в борьбе,
Все для меня ты, поэзия, кроме покоя.
Хорошо ли — не знаю, но верно служу я тебе!

Где же кончается труд и начинается отдых?
Где же поход, где привал на десять минут?..
Ты для меня и поход, и привал во время похода.
Ты для меня и мой отдых, и каторжный труд.

Перевел Н. Гребиев.

МОЙ ОТЕЦ ГОВОРИЛ: чтобы остановить надоедливого болтуна, нужно, чтобы слово взял почтенный старик либо гость. Если и после этого болтун не остановит своего пустого красноречия, нужно запеть песню. Если же и песня не подействует на него, тогда смело можно брать за воротник и выводить из сакли. Всякому, кто своей болтовней мешает песне, можно также дать хорошего тумака.

ПОЭЗИЯ, ты сама знаешь лучше других, что разговоры о тебе не делают тебя ни лучше, ни выше. Можно ли разговорами возвеличить песню? Можно ли из чайника усилить горный поток? Можно ли дуновением рта усилить летящий ветер? Можно ли кучей снега усилить величавость заоблачной горы? Можно ли покроем одежды либо фасоном усов усилить любовь матери к сыну?

ПОЭЗИЯ, я был бы без тебя сиротой.

ПОЭЗИЯ,

Мир был бы без тебя пещерой, что темна,
О солнце не имеющей понятья.
Иль небом, где звезда не светит ни одна,
Любовью, не слыхавшей про объятье.

Мир был бы морем, но без синевы,
Без этой вечно блещущей прохлады.
Иль садом без цветов и без травы,
Без пенья соловья или цикады.

Деревья стали б голы и черны,
Сплошной ноябрь: ни лет, ни зим, ни весен.
А люди б стали дики и бедны.
А песни... Песен не было бы вовсе.

АВАРЦЫ ГОВОРЯТ: «Поэт родился за сто лет до сотворения мира». Этим они, видимо, хотят сказать, что если бы поэт не участвовал в сотворении мира, то мир не мог бы быть сотворен таким прекрасным.

Нас у отца было четыре брата и одна сестра. Сестра среди всех — старшая. На ее долю, как на долю всякой горянки, выпало много работы, печали, слез. Отец не раз говорил нам:

— Вас четверо, а сестра у вас одна. Берегите ее, заботьтесь о ней. На земле у вас нет никого роднее сестры.

Это правда, сестра — самый родной для меня человек. Но у меня есть и вторая сестра, и я не знаю, которая из них мне роднее. Вторая моя сестра — Поэзия. Жить без нее нельзя.

Иногда я спрашиваю, что могло бы ее заменить. Конечно, есть у меня еще горы, есть снег и ручьи, дождь и звезды, солнце и хлеб... Но разве горы, и дождь, и цветы, и солнце могут обойтись без поэзии, а поэзия — без них? Без поэзии горы превратятся просто в нагроможденье камней, дождь превратится в неприятную воду и лужи, солнце превратится в небесное тело, излучающее тепловую энергию.

И снова я спрашиваю: что могло бы ее заменить? Конечно, есть дальние земли, пение птиц, небо, биенье сердца. Но без поэзии ничто не могло бы быть самим собой. Остались бы географические понятия вместо дальних заманчивых стран, нелепое вместилище воды вместо океана, необходимые призывы самок самцами вместо пения птиц, смесь некоторых газов вместо синего неба и кровообращение вместо трепетания сердца.

Конечно, есть также нежность, доброта, жалость, любовь, красота, отвага, ненависть, гордость... Но все эти понятия рождены поэзией, так же как поэзия рождена ими. Они не живут без нее, она не живет без них.

Моя поэзия создает меня, а я создаю мою поэзию. Друг без друга мы мертвы, — больше того, нас просто нет. У меня есть мышцы, и у меня есть кости. Постороннему взгляду не дано заглянуть и определить, которые кости у меня целы и крепки, а которые были сломаны, но потом срослись. Однако лучи рентгена просвечивают меня насквозь, и все, что есть во мне скрытого и тайного, открывается взгляду посторонних.

Моя душа скрыта еще глубже и надежнее, чем мои ребра, мой позвоночник, мои легкие. Но лучи поэзии просвечивают меня, и каждое движение моей души становится доступным для людей. Душа моя как на ладони, открытая и прозрачная, просвеченная волшебными лучами поэзии, и люди видят меня насквозь.

Тысячи проводочков и ячеек у современной аналитической машины. Ей задают сложнейшие программы из многих цифр. Электрический ток бежит по бесчисленным ячейкам и проводам. Никакому глазу, никакому мозгу не охватить всех процессов, которые происходят в этой сложной машине. Но потом появляется число — как последний ответ, как результат.

Никто не может знать, какие впечатления, какие токи любви и ненависти бегут по бесчисленным проводам моего организма. Но потом получается стихотворение — самое конечное и самое высшее, что может породить или произвести моя душа из тех жизненных впечатлений, которые протекают сквозь меня.

Я немало поездил по земле. То я ходил пешком, то ехал в седле, то летел в самолете, откинувшись в кресле и как будто бы задремав, то лежал в поезде, забравшись на верхнюю полку, то мчался в автомобиле.

Увидев меня на пешеходной тропе или на коне, люди могли бы сказать: вон Расул Гам-

затов. Он один идет (или едет), наверное, скучно ему одному. Но я никогда не бываю один. Всегда со мной моя сестра — Поэзия. Ни на минуту мы не разлучаемся с ней. Даже во сне я иногда сочиняю стихи, или вспоминаю свои уже написанные стихи, или читаю наизусть стихи других поэтов.

Раньше я думал, поэтов на земле очень мало. Наверно, поэтам очень скучно среди других людей. У каждого в жизни свой интерес — то, о чем можно поговорить с товарищем или соседом: работа, жена, зарплата, выходной день, родимый дом, рыбная ловля, кино, болезни... Конечно, о всех этих вещах поэт может, думал я, говорить с людьми, но кто разделит его поэтическое восприятие мира, его поэзию?

Потом я понял, что людей-непоэтов нет. Каждый человек в душе немного поэт. И уж во всяком случае поэзия приходит в гости к каждому, как кунак приходит в саклю к своему кунаку.

У нас в народе любовь к песне так же естественна и понятна, как любовь к детям. Да, мы все поэты. Разница между нами только та, что одни пишут стихи, потому что они умеют их писать. Другие пишут стихи, потому что им кажется, что они умеют их писать. Ну, а третьи не пишут стихов совсем. Может быть, они-то, эти третьи, и есть настоящие поэты?

Было время, когда я не писал стихов. Разве я не был тогда поэтом? Разве мое сердце билось реже, а кровь была холоднее? Разве печали терзали меня слабее, а радость была менее радостна? Разве жажда все узнать была во мне меньше? Разве глаза мои видели землю не такой же прекрасной, как они видят ее теперь? Разве меньше волнения испытывал я, увидев синюю крупную звезду в разрыве между черными облаками? Разве журчанье ручья не казалось мне мелодичным? Разве не тревожили меня крик журавлей или конское ржанье? Разве слеза не набегала на мои глаза, когда я слушал старую песню и предание о делах отцов?

ВСПОМИНАЮ, когда я был маленьким, то нанялся к соседу пасти коня. За три дня пастьбы сосед должен был рассказывать мне одну сказку.

ВСПОМИНАЮ, тогда же я ходил в горы к чабанам. Полдня идти туда, полдня обратно. А ходил я, чтобы услышать одно стихотворение.

Унцукульские груши, нмринский виноград, буцринский мед, аварские песни.

ВСПОМИНАЮ, когда я учился во втором классе, я пошел из родного аула Цада по крутым горным тропинкам в аул Буцра, до которого двадцать километров. Там жил старик, кунак моего отца, который знал много старинных песен, стихов, легенд. Четыре дня с утра до вечера старик читал мне и пел, а я старался, как мог, записать его песни. Возвращался я радостный, с хурджуном, набитым стихами и песнями.

Над аулом Буцра нависает гора. Когда я поднялся на эту гору, на меня откуда ни возьмись ринулись огромные злые овчарки. Их было не меньше дюжины. Они мчались по зеленой траве, как нацеленные торпеды мчатся по волнам к черному борту корабля. Я уж видел раскрытые пасти овчарок с желтыми мокрыми клыками. Еще минута — и они меня растерзали бы, но тут я услышал крик чабана:

— Ложись! Не двигайся!

Я лег, прижался к земле и замер. Я боялся пошевелиться, кажется, я даже перестал дышать. Только сердце мое гулко било в землю, и мне казалось, что удары его слышны далеко окрест. Собаки в недоумении остановились около меня, обнюхали и меня и мой хурджун, набитый поэзией. Подумав, что обознались, собаки недоуменно поглядели друг на дружку и помчались дальше догонять меня, который стоял в их воображении. Вскоре они исчезли за поворотом горы.

Я лежал до тех пор, пока не подошел с отарой чабан.

— Ты чей?

— Я Расул, сын Гамзата из Цада. — Я нарочно назвал имя своего отца, надеясь, что, услышав его, чабан отнесется ко мне внимательнее и не даст в обиду.

— А что ты делаешь здесь, на горе?

— Я ходил в Буцру за стихами. вот они в сумке.

Чабан достал стихи и пересмотрел их.

— Значит, ты тоже хочешь быть поэтом? Тогда почему же ты испугался собак? Разве такие собаки будут набрасываться на тебя на твоем пути? И они уж не отбегут, понюхав стихи, как отбежали мои овчарки. Но ты не бойся, не надо ничего бояться. Ты знаешь, что это за гора? С этой горы спрыгнул Хаджи-Мурат, обманув своих конвоиров. Конвоиры остались ни с чем, а Хаджи-Мурат спасся. В родном краю помогают даже горы.

Раньше я думал, что поэтическое волнение, которое овладевало мной, что тревога, которая постоянно жила в моей душе, что любовь, поселившаяся в моем сердце, и что само кипение крови — все это временное и очень скоро пройдет. Но вот уж голова моя поседела, вот уж подрастают мои дети и старятся мои книги, но ни одно из чувств не покидает меня. Вернее же других сопутствует мне моя Поэзия.

Теперь я обращаюсь к ней.

ПОЭЗИЯ, ты не оставляла меня в далеких путешествиях по земле и жизни, не оставляешь и теперь, когда я выхожу в широкое ровное море прозы. Я знаю, что рассказ бессмысленно рифмовать. Самый хороший рассказ тем самым можно превратить в очень плохие стихи. Но поэзия в рассказе может быть как соль в пище. Ведь и для всей моей жизни поэзия — соль. Моя жизнь была бы без нее пресна и безвкусна. У нас в горах, подавая гостю на стол еду, никогда не забывают поставить и солонку.

Проза летает дальше, но поэзия взлетает выше. Проза похожа на большой самолет, который может спокойно облететь вокруг земного шара. Поэзия же — как истребитель и перехватчик, она свечой взмывает с места в зенит и в мгновенье ока настигает большой самолет прозы, как бы высоко он ни летел.

Разные жанры хочу я смешать в моей книге и отправить эту книгу за пределы Аварии. Почему бы нет? Наши стихи давно уж торят тропинки и дороги в читательских сердцах далеко за пределами Дагестана. Некоторые рассказы тоже получили визы на выезд. Правда, наша драматургия все еще сидит дома. То ли проверяют анкеты, то ли нужно подучиться хорошему поведению, хорошим манерам.

Если бы я задумал написать драму, то местом ее действия был бы весь Дагестан, аулы, города, а также все страны и весь мир. Декорациями были бы горы, небо, живые реки, море, земля. Временем действия — прошедшие века, настоящий день и все будущее; тысячелетия я перемешивал бы с мгновениями. Действующими лицами были бы и я сам, и мой отец, и мои дети, и мои друзья, и люди, давно умершие, и люди, которые еще не народились.

Эта драма была бы моей главной книгой — моя «Война и мир», мой «Дон-Кихот», моя «Божественная комедия», — но я не рискую не только написать драму, но и вложить в стены моей будущей книги хотя бы один «драматический» камень. Драму оставляю я для другого времени, а скорее всего для других писателей. Буду пробавляться стихами и прозой, буду перемежать их. Стихи — полет на коне, проза — хождение пешком. Пешком уйдешь дальше. На коне доедешь быстрее. Буду то спешиваться, то вскакивать в седло. О чем сумею — расскажу, о чем не сумею рассказать — спою. Во мне есть и задор молодости, и мудрость старости. Молодость пусть поет, а мудрость пусть говорит прозой.

Во мне живут разные люди: то я чинно обедаю, пользуясь крахмальной салфеткой, держа вилку в левой руке, то двумя руками беру баранью лопатку и ем, сидя с земляками на траве, и запиваю баранину бузой.

Отправляясь из города в горы, я на городской манер беру с собой тонкие вина и фрукты. Возвращаясь в город от простодушно-гостеприимных чабанов, я везу баранью тушу, перекинутую поперек седла.

Ведь и море бывает то ласковое, то вкрадчивое, то сердитое, то разгневанное. Точно так же разные характеры живут во мне.

Я видел, на краю пропасти сидели, обнявшись, юноша и девушка. Был виден их общий силуэт, и нельзя было отличить их друг от друга — так крепко они обнялись, так слились воедино.

Точно так же живут во мне нераздельно радость и скорбь, слезы и веселье, сила и слабость.

...И иа дыбы скакуи ие подиимался,
Не грыз от нетерпения удил,
Ои только белозубо улыбался
И голову тяжелую клонил.

Почти земли его касалась грива,
Гиедая походила на огоиь.
Вначале мне подумалось: вот днво —
Как человек, смеется этот конь.

Подобиое кого ие озадачит.
Решил взглянуть поближе иа коия,
И вижу: не смеется конь, а плачет,
По-человечьи голову клоня.

Глаза продолговаты, словио листья,
И две слезы туманятся внутри...
Когда смеюсь, ты, милый мой, приблизься
И повнимательнее посмотри.

Перевел Я. Козловский.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Один горец из аула Сиюх увидел у подножия скалы белое облако, подумал, что это навалена мягкая пушистая шерсть, и прыгнул. Как бы ни было похоже пушистое облако на груду шерсти или на вату, все же ватой оно никогда не станет.

Как бы ни была красива по форме книга, написанная только ради формы, все же никогда она не затронет человеческого сердца.

Нельзя смотреть только на форму. Один рыбак, всю жизнь проведший на море, увидел, оказавшись в лесу, кучу муравьев и подумал, что это куча черной икры. Один горец, никогда не бывавший на море, увидел кучу черной икры и подумал, что это муравьи.

ЕЩЕ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

И пуля и орден стремятся к одиой груди,
И улыбка и слезы иа одном лице, погляди.
Яд и мед одии и те же уста таят,
Сокол и голубь в одиом и том же иебе летят.
И огонь и вода в черной туче — в одиом гиезде,
И кумуз н кинжал висят на одиом гвозде.

ЕЩЕ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Молодая горянка, впервые познавшая любовь, посмотрела утром в окно и воскликнула:

— Ой, как красиво расцвели эти деревья!

— Где ты видишь цветущие деревья? — возразила старая мать. — Это снег, на дворе ведь поздняя осень, зима.

Так одно и то же утро для двух женщин показалось и весенним и зимним. А во мне в одном живут эти двое: молодое и старое, цветенье и снега, весна и осень. Не удивляйтесь же, что в моей книге вы встретите то стихи, то прозу.

— Но не хочешь ли ты удержать одной рукой два арбуза?

— Нет, — отвечаю я, — не хочу.

Когда я смешиваю разные жанры в одном, это не значит, что я беру разные фрукты и режу их, чтобы перемешать и получить некий фруктовый винегрет. Но я хочу смешать их живыми, скрестить их, как это делают мудрые садоводы, и таким образом вырастить новый сорт.

Не знаю, что из этого в конце концов выйдет. Но ведь то же самое бывает и в каждом деле. Разжигая огонь, нельзя представить себе всех последствий. Но это не значит, что каждый раз нужно бояться разжигать огонь. И вот я зажигаю спичку, подношу ее к сухой ветке, загораживаю ладонью от ветра. Огонь начинает жить. Я не боюсь, что он, пока что такой робкий, слабый, вдруг превратится в зверя, с которым невозможно справиться. Я не думаю об этом, я разжигаю огонь.

У Шамиля на сабле было высечено его же собственное изречение: «Тот не храбрец, кто, идя на битву, думает о последствиях».

ГОВОРЯТ. Полезен и яд змеи, если он в умелых руках. Вреден и пчелиный мед, если он в руках дурака.

ГОВОРЯТ. Если не умеешь рассказывать — спой, не умеешь спеть — расскажи.

СТИЛЬ

Узнаешь ты по голосу певца,
А по узору — златокузнеца.

Надпись на кубачинском изделии

— Что ты на меня кричишь?
— Я не кричу, у меня такая манера разговаривать.

Из разговора жены и мужа

— Что-то твои стихи не похожи на стихи.
— У меня такая манера писать.

Из разговора читателя и поэта

Нас, мальчиков, не пускали на годекан аула, туда, где беседовали между собой старшие. Устроившись на большом камне, мы смотрели иногда издали на их беседы.

Однажды мы увидели, как гость из аула Анди говорил на годекане целый час и как весь джамаат слушал его, не перебивая. Мы обсуждали меж собой: наверное, какие-нибудь важные новости принес андиец, если его слушают столько времени и с таким вниманием.

Дома я спросил у отца:

— Какие новости рассказывал вам гость из Анди?

— А! Цадинцы уже двадцать раз слышали то, что он говорил сегодня, но рассказывает он так, что и не хочешь слушать, да будешь. Молодец андиец, да продлит аллах его дни!

ЕЩЕ О МАНЕРЕ. У каждого зверя свои уловки, своя манера уходить от охотника. У каждого охотника своя манера настигать и добывать зверя. Точно так же у каждого писателя есть своя манера, свой стиль работы, свой характер, свой почерк.

Когда я, будучи молодым поэтом, приехал учиться в Литературный институт, я попал в новую, непривычную для меня обстановку. Меня учило все — и сама Москва, и семинары, и крупные поэты на семинарах, и профессора, и мои друзья по курсу и по общежитию. Уроки сыпались на меня со всех сторон, и я на некоторое время растерялся, сбился с толку и начал писать как-то по-новому, в каком-то странном стиле, не существовавшем доселе в аварской литературе.

Не скрою, мне очень хотелось тогда видеть свои стихи переведенными на русский язык. Я рвался к русскому читателю, и мне казалось, что моя новая манера для русского читателя будет понятней и ближе. Я совсем перестал обращать внимание на музыку родной аварской речи, на музыку стихотворения. На первое место выходили конструкции, голая мысль. Я думал, что обретаю нужную манеру письма, в действительности же — теперь понимаю это — я делал маневры.

К счастью, я вовремя понял, что поэзия и хитрость несовместимы. Но еще раньше понял меня мой мудрый отец. Когда он прочитал мои новые стихи, ему сразу стало ясно, что ради курдюка я хочу пожертвовать самим бараном, что я пытаюсь вспахать и засеять голое каменное поле, на котором никогда ничего не вырастет, как его ни поливай, что я хочу иметь дождь, не имея неба.

Отец все это понял сразу, но он был очень внимательным и осторожным человеком. Однажды в разговоре он мне заметил:

— Расул, меня беспокоит, что твой почерк начал меняться.

— Отец, я уже взрослый человек, а на почерк обращают внимание только в школе. Со взрослого спрашивают не только то, как он написал, но и то, что он написал.

— Для милиционера и секретаря сельсовета, выдающего справки, может быть, это и так. Для поэта же его почерк, его стиль — ровно половина дела. Стихотворение, какую бы оригинальную мысль оно ни выражало, обязательно должно быть красивым. Не просто красивым, но по-своему красивым. Для поэта найти свой стиль и найти себя — это и значит стать поэтом.

Ты спешишь, но торопливый, бойкий ручеек никогда не добегает до моря — он поглощается другим, более плавным, более спокойным потоком.

Птица, которая меняет много гнезд и все не знает, какое выбрать, остается в конце концов совсем без гнезда. Не проще ли свить свое собственное гнездо — тогда выбирать не придется.

Сейчас, когда мне за сорок, я сижу над сорока своими книгами, перелистываю их и вижу, что на поле, засеянное моей пшеницей, попали растения с чужих полей, те, которые я не сеял. Пусть это не сорняки, пусть это добрые растения — ячмень, овес или рожь, — но они чужие на поле моей пшеницы.

В своей отаре я вижу чужих овец. Им никогда не привыкнуть к высоте и к воздуху гор.

В самом себе я замечаю иногда других людей. Но в этой книге я хочу быть самим собой. Хорош ли я, плох ли — принимайте таким, каков есть.

Горец, приходящий в горах на свадьбу, спрашивает у собравшихся раньше его:

— Вас хватает самих или можно войти еще и мне?

Горцы на свадьбе отвечают гостю:

— Входи, если ты на самом деле есть ты.

Вот моя книга, которой я должен доказать, что я — это я. Хочу быть писателем, а не исполнителем роли писателя. Смотрите, как актер на сцене пьет коньяк. И вот уж он захмелел, язык заплетается, голова клонится на грудь. Но в бутылке на сцене не коньяк, а чай. От чая не захмелеешь. Я думаю, с этим согласятся даже те, кто никогда не пробовал коньяка.

Оказывается, если в драме есть роль поэта, то самое трудное для драматурга — написать за этого поэта стихи. Поэтому чаще всего если в спектакле и действует поэт, то он не читает своих стихов. А какой же поэт без стихов? Чем он отличается от манекена из папье-маше, что красуется в витрине магазина?

Я не должен быть похожим на кого-то — даже на Омара, на Пушкина, на Байрона.

Иные воры, когда украдут буйвола, отшибают у него рога или обрезают хвост. Иные воры, когда украдут автомобиль, перекрашивают его в другой цвет. Однако, несмотря на все хитрости, воровство остается воровством.

Всего радостнее мне было бы услышать в разговоре читателей, что Расул написал книгу, как Расул.

Поющих птиц я люблю больше, чем чирикающих. Птицу во время полета я люблю больше, чем птицу, копошащуюся на помойке. Корабль в синем море я люблю больше, чем корабль, стоящий в тесном порту.

Посмотрите на легковесные лодки, как они подскакивают на всякой волне. Посмотрите на большие тяжелые корабли, как они устойчивы даже во время шторма.

Глупцы, если даже не выпьют и капли вина, шумят и ссорятся, точно пьяные. Мудрецы, если даже и выпьют по большому кубку, беседуют тихо, мирно и трезво.

Книга Расула, веди себя среди людей так, как подобает вести себя книге Расула.

Если незнакомый гость пришел в саклю горца, у него не спрашивают имени и откуда он, пока не пройдет три дня.

Принимайте и вы мою книгу, не спрашивая, кто такая, откуда, чья. Пусть она сама говорит за себя.

Я не хочу быть ни хуже и ни лучше, чем я есть. В двадцать лет силы нет — не жди, не будет. В тридцать лет ума нет — не жди, не будет. В сорок лет денег нет — не жди, не будет. Так говорит русская пословица. В горах же у нас говорят: если человек в сорок лет не орел — ему уже не летать. Пусть моя арба катится по моей дороге.

В нашем ауле, когда идет дождь, с горы, что поднимается над аулом, стекают многочисленные ручейки. Внизу все они сливаются, образуя временное дождевое озеро. Из этого озера вытекает уже только один большой ручей.

С окрестных гор много узких тропинок спускается к нашему аулу. Все они, как ручейки, вливаются в наш аул. Если же нужно уйти или уехать из аула в райцентр, в город, в большой мир, есть только одна широкая торная дорога.

Я не знаю, с чем мне себя сравнить — с дорогой или с рекой. Но я знаю, что мысли многих моих земляков, слова многих моих земляков, чувства многих моих земляков слились во мне, как горные ручейки или извилистые горные тропинки. Моя же собственная тропа, моя дорога увела меня из аула в поэзию.

Побывал я в разных концах земли, в разных странах, встречался я с разными людьми. Приходилось мне бывать на высоких торжественных приемах — то у президентов и королей, то у премьер-министров, то просто у министров, то у послов. Как блестят на таких приемах туфли и лысины, как повязаны галстуки, как белоснежны манишки, как вежливы поклоны и улыбки, как продуманы каждое слово и каждый жест! На таких приемах артисты похожи на премьеров, а премьеры похожи на артистов.

Я на таких приемах никогда не бываю самим

собой. Я делаю жесты, которые мне не хочется делать, и говорю слова, которые мне не хочется говорить. Сквозь блеск таких приемов я вижу вдруг родной очаг Цада и моих родных, сидящих вокруг него, или вижу своих веселых друзей, собравшихся где-нибудь в номере гостиницы, и вместо заморских кушаний мне хочется тогда хинкалов с чесноком. О, какое блаженство засучить рукава рубашки и пожирать хинкалы с чесноком у родного очага, среди друзей, так, чтобы жир стекал по рукам.

Когда я читаю некоторые книги, мне кажется, что они на дипломатическом приеме. В них нет свободы жестов, свободы поведения, свободы речи.

Книга моя, не будь гостем на дипломатическом приеме. Пусть у тебя будут только те слова, которые соответствуют твоему истинному характеру, а не те, которые нужно говорить из приличия.

Я видел людей, которые — люди как люди, пока они у себя дома, в кругу семьи, с женой, с детишками, или с друзьями. Но вот они в канцелярском своем кресле — сухи, черствы, злы, как будто их подменили. С каждым новым чином, с каждым новым креслом меняется их характер, их поведение, их лицо.

Будь постоянной, моя книга, не изменяй своего характера, как я не изменяю себе. Люби друзей и дым очага, а не торжественные приемы, люби поля, а не концерты, слушай голоса земли, а не шум собраний. Ведь бывает так, что на собраниях говорят одно, а после собраний совсем другое.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Кто из дагестанцев не знал огромной папахи Сулеймана Стальского, его тяжелого тулупа из душистых овечьих шкур, его легких чарыков, сшитых из телячьей кожи! Я думаю, не только дагестанцы не могли бы представить себе Сулеймана без чарыков и без папахи.

И вот Сулеймана Стальского наградили орденом, и Максим Горький назвал его Гомером XX века. И Сулеймана вызвали в Москву, и в Москве встретился с ним один дагестанский министр.

— Ай-ай, дорогой Сулейман, — сказал министр поэту. — Нельзя вести себя в Москве, как в ауле. Эту форму тебе придется сменить.

По поручению дагестанского правительства был сшит для Сулеймана бостоновый костюм, ему принесли также новые туфли, шапку-ушанку и зимнее пальто с каракулевым воротником. Сулейман пересмотрел каждую вещь в отдельности. Пальто, распахнув, подержал на весу, туфлями постучал подошву о подошву, затем все кое-как свернул и уложил в чемодан.

— Спасибо. Хорошие, новые вещи. Как раз впору моему сыну, Мусаибу. Я же хочу остаться Сулейманом. Свое имя не хочу променять ни на костюм, ни на туфли. Мои чарыки обидятся на меня.

Эту приверженность даже к внешнему проявлению самобытности очень ценил в Сулеймане мой отец.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Сыновья Сулеймана много раз пробовали научить своего отца грамоте. Сулейман всякий раз начинал со старанием, но потом он откладывал бумагу и говорил:

— Нет, дети. Как только я возьму карандаш в руки, стихи сразу от меня убегают, потому что я думаю не о стихах, а о том, как нужно держать этот проклятый карандаш.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Эффенди Капиев был другом Сулеймана Стальского. Он же переводил его на русский язык. Эта дружба вызывала зависть мелких и никчемных людей. Они старались унизить Капиева в глазах прославленного поэта или даже оклеветать его. Они говорили Сулейману:

— Ты не умеешь читать по-русски, а мы знаем, что Эффенди Капиев, когда переводит, портит твои стихи. Где хочет, он добавляет, где хочет, сокращает, а многие строки переделывает по-своему.

Однажды во время неторопливой беседы Сулейман завел разговор.

— Друг, — сказал он, — я слышал, ты бьешь моих детей.

Эффенди сразу понял, о чем идет речь.

— Твои стихи — не дети твои, Сулейман. Они — это ты сам, Сулейман Стальский.

— В таком случае я, старик, заслуживаю еще большего уважения, чем дети.

— Но что для тебя важнее, Сулейман, количество строк в стихах или стиль и дух? Вот перед нами стоит вино. Если оно выдохнется, то его почти не убудет, но оно не будет уж тем вином, которое мы пьем и которым наслаждаемся. Дело не в количестве вина, но в его аромате, во вкусе и крепости.

— Ты прав, это важнее всего.

Так в действительности и получилось: Сулеймана Стальского русскому читателю дал Эффенди Капиев.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.

— Никак не подберу ключ к стихам твоего отца, — жаловался мне Эффенди: Гамзата Цадаса он тоже переводил на русский язык. — Твой отец — со своим замком. Думаешь, что он смеется, а на самом деле грустит. Думаешь, он расхваливает, а на самом деле иронизирует, даже издевается. Думаешь, он бранит, а на самом деле хвалит. Все это я понимаю, но передать по-

русски еще не могу. Я могу передать его поэтические приемы и смысл его стихотворений, но мне нужен сам Гамзат, живой, каким мы его знаем. Ведь именно таким его должны узнать все читающие по-русски. Как будто бы он похож на всех остальных людей, но все же его не спутаешь ни с одним человеком.

Такими же должны быть и стихи поэта.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. Теперь меня знают в ауле как поэта Расула Гамзатова. А было время, знали как растяпу и неряху. Я делал одно, а думал в это время о чем-нибудь другом. И получалось, что рубашку я надевал задом наперед, пуговицы у пальто застегивал неправильно, да так и выходил на улицу. Шнурки у ботинок не завязывал, а если завязывал, то так, что они тотчас развязывались. В то время про меня говорили:

— Как могло получиться, что у такого опрятного, аккуратного и спокойного отца мог родиться такой суетливый и неорганизованный сын? Кто из них стар и кто молод: тот ли, кто забывает завязывать шнурки, или тот, кто ничего и никогда не забывает?

— Да, — отвечал я на эти досужие рассуждения. — Я взял себе старость отца и отдал ему свою молодость.

В самом деле, мой отец до конца был подтянут и легок, как юноша. И внешне и внутренне он был всегда собранным, дисциплинированным, точным. Все в ауле знали тот час и ту минуту, когда мой отец, надев тулуп, подымался на крышу сакли. По этим выходам отца на крышу можно было проверять часы. Один молодой аулец писал из армии своим родителям: «Мы встаем рано. Нас будят в то самое время, когда Гамзат подымается на крышу».

Если кто-нибудь хотел встретиться с Гамзатом утром, то знал, в какой час и в какую минуту нужно быть на дороге, ведущей в Хунзах. Гамзат, идя на работу, выходил из дому всегда в одно и то же время.

Люди знали про него все: знали, до какого места он поведет коня в поводу, а потом уж сядет в седло; знали его простую черную рубашку, его брюки-галифе, его сапоги, которые он сшил сам и собственноручно чистил каждое утро. Они знали его пояс, его аккуратно подстриженную, но ни разу не бритую бороду; знали его папаху, которую он носил как-то очень строго. Каракуль на папахе был не очень круто завит, но, с другой стороны, не очень космат.

Был образ отца, и все, что отец носил, все, что он делал, удивительно шло этому образу. И трудно было представить себе что-нибудь другое в одежде, в поведении Гамзата.

Он и сам не любил никаких перемен. Когда одежда изнашивалась и нужно было обзаводиться новой, он искал точно такую же. И хотя новая одежда шилась по той же мерке, по той же выкройке, все же в первые дни отец чувствовал себя в ней неловко и стесненно.

Однажды у него перетерся и оборвался ремень. Ничего не стоило купить новый, но Гамзат тщательно сшил привычный пояс и носил его еще некоторое время. Он не был жадным, и деньги у него водились, но ему жаль было расставаться с тем, к чему он привык. В конце концов ремень оборвался снова, и отцу пришлось купить новый. Все же и к новому ремню он пришил пряжку от старого.

Свою папаху он всегда гладил, как живого ягненка. Если уж он дорожил своим привычным ремнем, то как же он дорожил папахой!

Летом 1941 года, когда началась война, правительство Дагестана настояло, чтобы отец переселился с гор в Махачкалу. После прохладного высокогорья в городе ему показалось душно и жарко. Одежда, пригодная для высокогорья, стала обременительной в разогретом городском воздухе. Особенно не по климату оказалась папаха. Отец пробовал примерять разные шапки и шляпы, но они настолько сразу меняли весь облик Гамзата, что он отбрасывал их в сторону, несмотря на то что мы, дети, очень уговаривали отца.

Так и ходил Гамзат по Махачкале с папахой в руке. Иногда надевал, иногда снимал, но не расставался с ней ни на минуту.

Даже такое бедствие, как война, может сделаться привычным, и жизнь входит в свою — пусть новую, пусть военную — колею. Отец снова стал временами уезжать в горы. Как свободно ему там дышалось, с каким наслаждением носил он там свою неизменную папаху! Был в эти дни похож на человека, который долго мучился оттого, что нечего закурить или строго запрещено, и вдруг есть возможность неторопливо свернуть самокрутку из крепкого душистого табака, неторопливо и с чувством прикурить, неторопливо и с чувством глубоко затянуться.

Отец мой никогда не курил, но такое же или даже еще большее наслаждение он находил в других мелочах жизни, не говоря уж, конечно, о главных радостях — о радости творчества, о радости любви к родному краю.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ОТЦА. «Хотя Раджаб мой друг, но поступил он со мной хуже врага. А в союзники против меня взял бритву» — вот что записал однажды мой отец у себя в блокноте. А дело было так. В 1934 году отец поехал в Москву на Первый съезд писателей. Тогда был жив еще аварский писатель Раджаб Динмагомаев. Он затащил отца в парикмахерскую, дабы немного подправить отцу волосы на бороде и на голове. Нарочно ли все подстроил Раджаб, парикмахер ли не понял, что от него требовалось, только отцу начисто сбрили его се-

дую, его ни разу не бритую бороду. Отец спохватился поздно. Увидев в зеркале совершенно чужое, незнакомое даже лицо, он закричал, загородил лицо руками и бросился вон из парикмахерской. Он не появлялся больше на заседаниях съезда, не осмеливался показаться на глаза людям.

— Я не мог изменить своему лицу в жизни, — говорил впоследствии отец, — каково же изменять своему лицу в стихах?

Не любил отец вычурности как в жизни, так и в стихах, хотя однажды он чуть не привык к чужой, вычурной позе.

ВОСПОМИНАНИЕ. К отцу в гости в Махачкалу приехали земляки из аула. Они заметили, что, разговаривая с ними, Гамзат Цадаса сидит в какой-то неестественной, непривычной позе, а именно: свой подбородок он поддерживает тремя пальцами. Один из горцев спросил у Гамзата:

— Раньше мы не замечали, чтобы ты держался за свой подбородок тремя пальцами. Давно ли ты привык к этому и зачем? Эта привычка тебе не идет. Это, Гамзат, не твоя привычка.

— Ты прав, — ответил отец. — Надо бы отучиться. Во всем виноват художник Муэтдин Джемал. Дело в том, что он целых три месяца писал с меня портрет. Три месяца я сидел перед ним неподвижно, держась за подбородок тремя пальцами. Так он мне велел, и я должен был подчиниться художнику.

— Тяжело это было?

— Сидеть было не тяжело, но эта поза! Иногда мне начинало казаться, что три чужих пальца поддерживают мой собственный подбородок. Иногда мне казалось, что три моих пальца держатся за чей-то чужой подбородок. Так сидел я три месяца изо дня в день и постепенно привык. Сеансы давно кончились, картина готова и висит, а я, как видите, все еще продолжаю держаться за подбородок тремя пальцами. Бывает, что человек с больным сердцем хватается за сердце и в те минуты, когда оно у него не болит. Но не беспокойтесь, я постараюсь отучиться.

В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ОТЦА есть запись о том, как ему вставляли новые зубы.

Когда дело подошло вплотную, врач спросил у Гамзата, какие зубы ему лучше вставить: золотые, серебряные или стальные? Гамзат растерялся, ища поддержки, он посмотрел на друзей, бывших тогда около него.

— Ставь золотые, — подсказывал один друг, — золото — благородный металл.

— Ставь стальные, — советовал другой. — Сталь крепка, никогда не износится.

— Ну что же получится, — возразил Гамзат. — Если я вернусь в аул с золотыми или стальными зубами, люди будут глядеть на меня, как будто у меня во рту не зубы, а фонари. Люди будут смотреть не на меня, а только на мои зубы. Зубы затмят мое лицо. Нельзя ли вставить костяные, такие, чтобы никто и не заметил, будто у меня новые зубы? На такие, незаметные, зубы я согласен.

Врач выполнил просьбу Гамзата и вставил ему зубы, похожие на те, что были у него до сих пор.

Впоследствии, замечая в стихах поэта чужеродные или заимствованные строчки, отец говорил:

— В этих стихах сверкают вставные зубы.

Конечно, и золотыми зубами можно надкусить яблоко, но сдается, что хрупнет оно не так сочно и не так вкусно, как если бы надкусил его своими собственными зубами.

ВОСПОМИНАНИЕ. В 1947 году в Махачкале в театре был большой торжественный вечер: чествовали моего отца, поэта Гамзата Цадаса, которому исполнилось тогда семьдесят лет. Много было речей и поздравлений, много читалось стихов, много подарили подарков. В конце концов слово дали самому юбиляру, моему отцу. Гамзат вышел на трибуну, спокойно вынул из нагрудного кармана лист бумаги с переписанными стихами, сочиненными специально к этому дню, спокойно полез в другой карман за очками... Но тут движения отца из спокойных превратились в беспокойные. Он сунулся в один карман, в другой. Все поняли, что виновник торжества забыл дома очки.

За очками тотчас послали. Но Гамзат уже стоял на трибуне, и делать ему было нечего. Тогда друг Гамзата Абуталиб дал ему свои очки, которые как будто подходили. Отец надел очки Абуталиба и действительно начал читать. Он читал свои стихи, но в голосе, во всей позе его была какая-то неуверенность, робость, и всем казалось, что отец читает не свои стихи, а какие-то другие, случайные, которые он сам видит впервые.

Когда отец начал уже читать следующее стихотворение, юноша, которого посылали за очками, вбежал в зал. Гамзат снял очки Абуталиба, надел свои, и сразу у него изменилась осанка, сразу голос его зазвучал тверже, и весь зал зааплодировал отцу, как будто только сейчас настоящий Гамзат Цадаса вышел на трибуну, а до этого там стоял его двойник.

— Очки чуть не испортили мне юбилей, — улыбаясь, сказал Гамзат.

— Разве мои были хуже? — громко спросил Абуталиб.

— Они очень хороши, но все-таки это твои очки. У каждого человека свои глаза, и очки тоже должны быть свои.

Мой отец не любил ослепительно-яркого, не любил непроглядно-темного. Он не любил слишком густого и слишком жидкого, слишком холодного и слишком горячего, слишком дорогого и слишком дешевого, слишком отсталого, но и слишком передового.

Он не любил свирепости волка и слабости зайца. Деспотизма власти и рабского подчинения. Он говорил:

— Не будь столь сухим, чтобы хрупнуть и сломаться, но и не будь столь мокрым, чтобы тебя выжимали, как тряпку.

Мой отец был не из тех, кто размокает от капли дождя или высыхает от легкого дуновения. Мой отец был простым работником, в нем жили все привычки и все качества нашего народа, и он с достоинством носил их в себе.

ВОСПОМИНАНИЕ. Однажды мы с отцом должны были поехать из Махачкалы в аул, чтобы навестить больного родственника. Во главе правительства Дагестана стоял Абдурахман Даниялов. Узнав о том, что мы собираемся в горы, он дал нам черную правительственную машину. Кажется, это был ЗИМ.

Пока мы ехали по городским улицам, отец чувствовал себя превосходно. Но как только на загородной дороге стали мы перегонять горцев, едущих на осликах, мулах, конях или бредущих пешком, отец начал беспокойно ерзать на удобном мягком сиденье. В то время как я по молодости старался высунуться из окна, чтобы все видели, в какой машине я еду, отец отодвинулся как можно дальше в глубину, в тень.

Шел дождь. Подъехав к гоцатлинской речке, мы увидели, что старик, ехавший на арбе, застрял посредине потока. Отец тотчас остановил машину, вошел в реку и начал помогать старику. Вместе со стариком они понукали волов, упирались в колеса. Скоро арба очутилась на ровной дороге. Мы поехали дальше. Через несколько километров на пути попалась еще одна река. Отец снова остановил машину и стал дожидаться старика с арбой.

— Старик обязательно здесь застрянет. А я знаю, как перевести волов через эту речку. Я подожду старика и помогу ему.

Действительно, мы дождались, когда арба доскрипела до этой второй речки, и отец умело перевел волов.

— Много раз я попадал в такое же положение, когда возил, бывало, разные грузы из Буйнакска в горы, — говорил нам отец, возвращаясь к машине и вытирая руки о полы своей одежды. Он печально улыбался вслед арбе, как будто вместе с ней уезжало его прошлое, его жизнь.

При подъеме на Хунзахское плато нашу машину задел грузовик. Сломалось колесо. Отец, казалось, обрадовался этому обстоятельству и пошел в аул пешком. Как мы ни уговаривали его подождать, пока поставим запаску, отец ждать не захотел.

— Даже на свадьбу мне было бы совестно приезжать на такой машине, тем более не нужен весь этот парад, когда навещаешь больного друга. Нет, я очень рад, что машина испортилась, я пойду пешком.

Мой отец ушел по тропинке, знакомой с детства, по той тропинке, которой ходили в наш аул бесчисленные поколения горцев. Мы починили колесо и поехали по большой дороге. В аул мы прибыли одновременно с отцом.

Потом в Махачкале Абдурахман Даниялов с тревогой спрашивал отца о дорожной аварии.

Отец ответил шутя:

— Уж очень хороша была машина. Если бы была чуть-чуть похуже, ничего бы с ней не случилось.

ВОСПОМИНАНИЕ. В последние годы своей жизни отец тяжело болел. Болезнь неожиданно настигла его во время поездки в горы, куда он ездил на встречу с избирателями. Приближались очередные выборы в Верховный Совет СССР, а Гамзат Цадаса был выдвинут в кандидаты.

До районного центра доехали на машине, но дальше в горные аулы нужно было ехать на лошадях. Отец любил тихих, смирных лошадей. Обычно он ездил шажком, но чаще всего вел коня в поводу. Пешая ходьба была больше всего по душе Гамзату.

Местные власти постарались. Они подвели будущему депутату молодого резвого скакуна. Корить их нельзя, они хотели сделать как лучше. Они считали, что такому дорогому гостю нужно дать лучшего коня из всего района.

Семидесятидвухлетний старец не захотел обидеть хозяев и, вспомнив былые годы, молодецки вскочил в седло. Окруженный молодыми людьми на конях, седобородый поэт походил на имама в окружении наибов.

Молодые люди ударили своих лошадей плетьми и поскакали по разным дорогам в разные аулы, чтобы сообщить о скором прибытии Гамзата. Поддавшись общему азарту, конь под Гамзатом тоже понес. Старик не сумел его удержать, и началась бешеная скачка. Гамзата растрясло, укачало в седле, он чувствовал себя все хуже и наконец совсем вылетел из седла. В Махачкалу он вернулся больным, и эта болезнь не оставляла уж его до самой смерти.

— Так получается со стихами, — говорил отец, кашляя. — Поэт должен ездить на своем привычном коне, а не садиться на чужого, неизвестного скакуна. Чужой скакун как раз и выбросит из седла.

Долго я мог бы рассказывать о своем отце, но теперь мне хочется рассказать немного о его друге Абуталибе. Весь вчерашний день я как раз провел вместе с ним.

ДЕНЬ, ПРОВЕДЕННЫЙ С АБУТАЛИБОМ. Труднее всего мне бывает сесть за стихи, которые почему-либо не дописал, не закончил в свое время и вот нужно снова садиться и заканчивать. Горцы говорят, что лягушка только потому до сих пор без хвоста, что приклеить его оставила на завтра.

С утра я решил дописать длинное стихотворение, которое начал две недели назад. Работа предстояла трудная, и я сказал домработнице Фросе:

— Если кто будет спрашивать, говори, что меня нет дома. Кому нужно, пусть приходит после обеда.

Распорядившись таким образом, я пошел в свою верхнюю комнату и спокойно принялся за работу. Но все же уличные звуки доносились до меня, и вот я услышал, как скрипнули входные ворота. Через некоторое время прозвенел звонок у дверей дома. Я не слышал голоса Фроси, но зато донесся до меня голос Абуталиба. Стул подо мной тотчас же превратился в раскаленную сковородку либо в терновый куст. Не было случая, чтобы в доме Гамзата Цадаса, или теперь вот — Расула Гамзатова, хоть раз отказали Абуталибу, чтобы он повернул от порога дома и ушел. Такого не было и быть не могло. Но я оказался в затруднительном положении: с одной стороны, Абуталиба отпустить нельзя, с другой стороны, неудобно подвести Фросю, которая честно исполнила мою просьбу и уже сказала Абуталибу, что меня нет и что я буду только после обеда.

Я поступил по совету сердца, а не рассудка. Я высунулся из окна и крикнул старому другу моего отца:

— Заходи, Абуталиб, я здесь!

— А, милостивый аллах! Неужели сын Гамзата из Цада скрывается от кредиторов? — Абуталиб быстро снял папаху и, проходя мимо Фроси, покосился на нее. — Скажи этой женщине, Расул, что, когда в дом приходит Абуталиб, двери раскрываются сами собой и что ты, Расул, в это время всегда дома. А если тебя и нет, то всегда в этом доме есть для Абуталиба попить и поесть, а если понадобится — и поспать.

— Фрося не виновата. Патимат, уходя на работу, поручила ей говорить всем, что меня нет дома. Жена заботится обо мне.

— Хорошо, когда есть жена и есть на кого свалить все свои грехи. Но разве Патимат забыла, что сегодня четверг, — говорил Абуталиб, отряхивая свою мохнатую мокрую папаху.

— Но чем знаменит четверг?

— Это мой банный день. Разве ты не заметил, что каждый четверг я хожу в баню, а так как баня рядом с твоим домом, то всегда можно ждать, что я зайду и к тебе — посидеть, побеседовать, покурить.

— Зачем тебе баня, Абуталиб? У тебя в квартире есть ванна и даже горячая вода.

— Ванна и душ — это кусок черного хлеба. А баня — свадебный пир. У меня есть сад и есть ручей, который тысячелетиями течет с гор, и я пускаю его под каждое дерево, и он орошает их. Разве я сумел бы полить все деревья при помощи черпака и лейки? Баню я сравню с обильным горным ручьем, а твой душ и твою ванну — с лейкой и черпаком. Нет, Расул, оставь эти игрушки для детского поэта Нуратдина Юсупова. Говорят, он пишет теперь кукольный сценарий. Так вот, для его кукол это будет как раз.

— После бани хорошо бы попить чайку, — предложил я Абуталибу, когда мы вошли из коридора в комнату.

— Валлах — годится и чай, биллах — неплохо и суп, таллах — не помешает и вино. А лучше всего после бани чистая водочка.

— Суп-то у нас есть, только он вчерашний. Теперь утро, мы не сварили еще свежего супа.

— Мы начнем с вчерашнего, а там, глядишь, подоспеет и свежий.

Пока Фрося хлопотала вокруг стола, я хвастался своей заграничной винотекой. Из разных заморских стран я навез в красивых разноцветных бутылках то ром, то коньяк, то джин, то виски, то кальвадос, то абсент, то вермут, то сливовицу, то венгерский уникум... И коньяки тоже были разных сортов: то мартини, то камю, то плиска.

— Выбирай, Абуталиб, что ты хочешь пить.

— Всю эту белиберду ты, Расул, убери. Угости, если хочешь, меня обыкновенной белой головкой. Белоголовая водка хороша не только тем, что мы знаем ее, но и тем, что она знает нас. То, что ты мне показываешь, может быть, очень вкусно, но все эти бутылки приехали издалека, они говорят на других, неизвестных мне языках, а я говорю на языке, который будет непонятен для них. А привычки, а характер? Нет, мы совсем не знаем друг друга. Эти бутылки похожи на незнакомых гостей, с которыми нужно сначала разговориться, познакомиться, съесть пуд соли. Я боюсь, что мы не поймем друг друга. Оставь их для своих друзей — московских писателей. Оставь их и для тех, кто забыл вкус пищи, приготовленной родной матерью на родном очаге.

В моей коллекции не оказалось ни одной бутылки водки. Я сделал вид, что сейчас пойду в магазин, надеясь, что Абуталиб начнет меня отговаривать: ведь на улице дождь с холодным ветром, а спиртного в доме полно. В конце концов это прихоть — требовать водки, когда на столе стоят лучшие французские коньяки.

А Абуталиб действительно начал меня отговаривать:

— Нет, Расул, сразу видно, что ты еще молод, хотя и поседел. Разве ты должен сам ходить за водкой, разве нет людей помоложе тебя? Выйди во двор, попроси соседского парня, он и сходит. А я никуда не тороплюсь, я с удовольствием подожду его возвращения.

Пришлось сделать так, как сказал Абуталиб. Я дал денег соседскому парню, и тот побежал в магазин. А Абуталиб между тем оглядывался по сторонам.

— Что-то не видно в твоем доме гостей с гор. Неужели нет ни одного гостя?

— Сегодня нет никого.

— Когда был жив мой друг, а твой отец Гамзат, в этом доме всегда жили гости. А гости тем хороши, что у них всегда при себе табак.

— Курево у меня тоже есть. — И я достал из ящика набор сигарет и папирос.

— Эти гладкие белые трубочки не для меня. Это ваше московское курево, а мне по душе только наш крепкий горский табак. Придется доставать свой кисет.

Абуталиб вытащил из-за пазухи большой кисет и, вывернув его, наскреб на донышке и в швах табаку — на одну самокрутку. Мастерски он свернул ее, склеил языком.

— Разве можно сравнить с этой самокруткой твои ровные табачные палочки? У моей самокрутки есть свое лицо, она похожа только на себя, а твои сигареты все, как одна, похожи друг на дружку. Теперь скажи мне, в чем больше удовольствия — достать из пачки готовую сигарету или скрутить самому такую вот замечательную самокрутку? Ведь когда я ее скручиваю, я уже получаю удовольствие, зачем же я буду этого удовольствия лишаться?

Я чиркнул не то швейцарской, не то бельгийской газовой зажигалкой, но Абуталиб отвел мою руку с огнем. Он вытащил из кармана кусок стали, обломок камня и кусок веревки. Конец веревки он приставил к камню и ударом железа высек искры. Потом он помахал трутом, заставляя его разгореться, и прикурил. Горящий трут он поднес мне к ноздрям.

— Понюхай, как пахнет. Хорошо? То-то. А чем пахнет от твоей зажигалки?

На некоторое время Абуталиб исчез в облаках табачного дыма. Потом дым немного рассеялся, и Абуталиб спросил:

— Скажи мне, Расул, почему твоя голова уже поседела?

— Не знаю, Абуталиб.

— А я вот знаю, почему я седой.

— Расскажи.

— Моя голова поседела оттого, что мне всегда приходилось долго ждать, пока эти проклятые мальчишки сбегают в магазин за водкой. Да, Расул, дети не понимают родительских переживаний, пока у них не народятся свои дети. Точно так же нас не могут понять те, кто не пьет. За водкой нужно посылать того, кто сам любит выпить, тогда не будет задержки.

Между тем Фрося накрыла на стол. С некоторым запозданием на середине стола появилась и бутылка водки.

— Уф, — сказал Абуталиб. — Точно сурхиинский председатель появился среди рядовых колхозников. — Он взял бутылку водки и покачал ее, как ребеночка. — Ай-ай-ай, какая хорошая бутылка! Наверно, очень хорошим человеком будет тот парень, который ее принес!

В это время Абуталиб обратил внимание на маленькие рюмочки, расставленные на столе. Лоб его сморщился, как от сильной горечи во рту или зубной боли. Он повертел рюмочку и так и сяк, заглянул в нее — по-моему, ему очень хотелось сунуть в нее окурок, дабы тем самым выразить окончательное презрение к предмету, ничего, кроме презрения, не заслуживающему.

Я взял большой рог, подаренный мне грузинами, передал Абуталибу.

Старый поэт долго разглядывал его с разных сторон и наконец оценил:

— Хороший рог, но он выглядел бы еще лучше, если бы на нем не было серебра. Словно пояс на женихе, это чеканное серебро на роге. А зачем оно? Разве водка от серебра станет крепче или вкуснее? Нет, Расул, дай-ка ты мне простой граненый стакан, который всю жизнь держала моя рука. Я знаю, сколько в стакане глотков, знаю, когда остановиться, когда продолжить.

Я исполнил и это желание Абуталиба. Он налил, бросил в стакан небольшой кусочек хлеба и сказал по-даргински:

— Дерхаб! — Затем выпил залпом до дна, перевел дух и добавил: — Слово «дерхаб» всегда нужно произносить перед тем, как выпить. Конечно, смысл его объяснить трудно, может быть, у него и нет никакого особенного смысла, но разве не понятно и так — «дерхаб»!

Выпив, Абуталиб пододвинул к себе тарелку с супом, вынул на отдельную тарелку мясо, а в суп стал крошить хлеб. Он ел неторопливо, с удовольствием, прочувствуя каждую ложку горячей и вкусной пищи. Время от времени он так же неторопливо отрезал от мяса небольшой кусочек и отправлял его в рот. Я думаю, что мясо для него не было бы таким вкусным, если бы он ел его по-другому или даже другим, а не своим карманным ножом.

Покончив с супом и мясом, Абуталиб собрал со стола все хлебные крошки и положил их в рот. Затем выпил еще немного и разгладил усы.

— Может, теперь хочешь чаю?

— Теперь мой чай — снова табак. Скажи

мне, Расул, чем отличается папироска от всякой вещи?

— Не знаю.

— Всякая вещь, когда ее тянешь, делается длиннее, а эта, наоборот, укорачивается. — И он засмеялся, довольный своей немудреной загадкой.

— Много ты куришь, Абуталиб, не вредно ли для здоровья?

— Говорят, после сытного обеда закуривает даже сам аллах.

Накурившись, Абуталиб неожиданно спросил:

— Когда будет заседание правления?

— Завтра.

— Не знаешь, заявление Зайнуддина в Литфонд не будет разбираться на этот раз?

— Не знаю, да тебе зачем?

— Расскажу тебе притчу. Когда я был подростком, я пас телят. Телята у меня были смирные. Я свободно лежал на зеленой траве, на солнышке, а они паслись вокруг, и все были довольны: и я, и телята, и хозяйка моих телят. Но потом случилась беда — один бойкий теленок проведал дорогу в овсяное поле. За ним потянулись и остальные. Моя спокойная жизнь на этом и кончилась. Не мог я отвадить телят от овса, и пришлось не отходить от них ни на шаг. Так получилось и с Литфондом для наших поэтов. Жили они спокойно, писали свои книжки, пока не разнюхали про Литфонд. Не знаю, кто из них был самый первый, но теперь-то все они пасутся в Литфонде, как мои телята в овсе. Про стихи они думают меньше, чем про Литфонд. Утром, вставая с постели, они пишут не стихи, а разные заявления о пособиях. Вот и я хочу написать одно заявление, а вы его на правлении обсудите.

— О чем же, Абуталиб, в чем твоя нужда?

— Ты знаешь, что мое тело не видел еще ни один врач. Но все же я теперь решил взять путевку в санаторий.

— Можешь считать, что путевка уже у тебя в кармане. Но не лучше ли вместо Союза писателей тебе обратиться в Верховный Совет Дагестана? Ты ведь член Президиума Верховного Совета. Правительственный санаторий лучше, чем писательский.

Абуталиб покачал головой и начал цокать языком. Это цоканье у него могло выражать самые разные чувства — и восторг, и досаду, и удивление, и, как вот теперь, отрицание.

— Нет, Расул, во-первых, в Верховный Совет меня избрали временно, на четыре года, а писатель я на всю жизнь. А во-вторых, и в том и в другом санатории все равно будут недостатки. Теперь скажи, кого мне сподручнее будет ругать — тебя с Хаппалаевым или сам Верховный Совет?

— Тогда пиши заявление, завтра разберем.

— Заявление-то мне напишет Мирза, сам я никогда не писал, а вы уж подготовьте путевку. — С этими словами Абуталиб встал, собираясь уходить.

— Куда ты теперь пойдешь, Абуталиб?

— Хочу сходить в издательство. Говорят, вышла моя новая книга. Надо посмотреть, сынок или дочка.

— Приходи вечером в Педагогический институт. Будет встреча писателей со студентами.

— Хорошо, приду. А зурну захватить?

— Ах, Абуталиб, ты ведь не зурнач, а поэт. Захвати лучше сборник стихотворений.

— Увидимся, — сказал Абуталиб и ушел.

Литературный вечер в женском Педагогическом институте был назначен на семь часов. Собрались поэты многонационального Дагестана. Ровно семь. Я посматриваю по сторонам, Абуталиба не видно. Пришлось начать вечер без него. На трибуне один поэт сменял другого. Они читали стихи каждый на своем языке. Кто по-лакски, кто по-кумыкски, кто по-лезгински, кто по-аварски. В то время как один молодой поэт читал свою поэму, раздались неурочные аплодисменты. Оказывается, из-за кулис на сцену вышел Абуталиб Гафуров. Девушки аплодировали ему.

Прослушав еще двух поэтов, я дал знак Абуталибу, чтобы он готовился выступать. Абуталиб сразу сделал серьезное лицо, уселся, как перед фотоаппаратом, и начал крутить усы. «Как видишь, готовлюсь», — хотел мне сказать тем самым старый поэт.

Выступая, Абуталиб поговорил немного с девушками то по-русски, то по-аварски, то по-лакски, ибо он все дагестанские языки знает каждый понемножку. Прочитал по-лакски два стихотворения.

Но всю эту свою, так сказать, литературную часть он вел торопливо, как нечто предварительное, как предисловие, как бы оставляя время для главного. Остановив жестом руки аплодисменты, Абуталиб спросил у зала:

— Хотите, я вам сыграю на своей зурне?

— Хотим, хотим, сыграйте! — закричали девушки.

Абуталиб принес из-за кулис зурну, свирель и начал потихоньку играть то на одном инструменте, то на другом. Но все понимали, что это лишь подготовка, лишь настройка инструмента, проба голоса. Убедившись, что инструменты налажены, Абуталиб неожиданно взял со стола стакан с водой и вылил воду в зурну.

— Прежде чем напиться самому, напои коня, — говорят горцы. — Прежде чем напьешься сам, напои зурну, — говорят в горах зурначи.

Абуталиб начал играть на зурне, поворачиваясь вместе с ней то в одну, то в другую сторону. Перед целым залом молодых девушек Абуталиб был в ударе. Наверно, на всю

Махачкалу разносилась в ту ночь зурна Абуталиба.

Садясь на свое место в президиуме, Абуталиб простодушно спросил у меня:

— Ну как я играл, хорошо?

— Хорошо.

— Тогда почему же так вяло аплодировал? Сейчас же аплодируй еще.

Эти слова Абуталиба были встречены дружным смехом зала.

Мне, как ведущему вечер, действительно не очень понравилось, что Абуталиб — замечательный поэт — выступил в роли зурнача. Это все равно что, например, русский поэт Есенин, вместо того чтобы читать стихи, пустился бы на сцене в пляс. Плясать-то, наверно, Есенин умел. Но ведь всему свое время. Должно быть, я нахмурился, сидя в президиуме, и мало хлопал, чем и вызвал веселую, насмешившую зал реплику Абуталиба.

Провожаемые гурьбой девушек, мы спустились по широкой лестнице к гардеробу. Я надел свое пальто и посмотрелся в зеркало. В те годы были модны пальто с высокими прямоугольными подложными плечами. На мне было как раз такое пальто. Абуталиб увидел меня и покачал головой:

— Раньше плечи делались широкими от курдюка, то есть от жирной, здоровой пищи, а теперь — от ваты. Раньше песни пели, подыгрывая на кумузе, а теперь читают их по бумажке. Большие изменения произошли в мире. Не нравятся мне они.

— Почему опоздал на вечер, Абуталиб?

— Я совсем был готов и уже собирался выйти из дома, как вдруг прибегает из аварского театра артист...

— Зачем ты понадобился аварскому театру?

— У них, видишь ли, в спектакле должна быть свадьба. Теперь ведь без свадьбы не бывает ни одного спектакля. А зурнач заболел. Какая же свадьба без зурнача? Вот они и позвали меня поиграть на зурне. Всего на десять минут. Но пока мы дошли до театра, пока началась свадьба — время-то и прошло. Я им сыграл две такие песни, что зрители забыли про спектакль, слушали только меня. Если бы я играл им весь вечер, они бы сидели и слушали.

— На месте Абуталиба Гафурова, знаменитого поэта и члена Президиума Верховного Совета республики, я не пошел бы исполнять роль зурнача.

— Абуталиб лучше тебя знает, что ему делать, а что не делать.

— Был ли ты в издательстве и как твоя книга?

— Слава аллаху, книга вышла. Слава аллаху, денег немного получил. Слава аллаху, отдал долги. Слава аллаху, купил гуся.

— Будешь устраивать магарыч?

— Кому?

— Редактору, художнику, бухгалтеру. Всем, кто участвовал в издании книги.

— Редактору магарыч?! — Абуталиб даже остановился от возмущения. — Ему нужно устроить не магарыч, а могороч!

«Могороч» по-аварски значит что-то вроде «скрутить, надавать колотушек». Абуталиб долго смеялся своей удачной игре слов, затем он продолжал:

— Послушай, Расул, я слышал, что дагестанцев, которые делают своим сыновьям обрезание, могут чуть ли не снять с работы, а то даже исключить из партии. Почему же не снимают редакторов, которые кромсают мои стихи, режут их на части? По отредактированной книге я сразу скажу тебе, из какого аула редактор. У нас, лакцев, в каждом ауле свой диалект. Так вот, редактор стремится перевести меня на язык своего аула. — Абуталиб вдруг замолчал и улыбнулся. — А вот женщина, которая дает подписывать договор, там хорошая. Ай, какая хорошая женщина! Этой женщине я сказал большое спасибо.

— А еще что ты ей сказал? Может быть, преподнес какой-нибудь подарок?

— Я ей сказал, что если у нее есть какая-нибудь худая, протершаяся, помятая и сломанная посуда, чтобы она приносила ее ко мне, а я починю, запаяю, исправлю, и будет как новая.

Эта выходка Абуталиба мне не понравилась еще больше, чем его игра на зурне в аварском театре. Увидев около забора кучу медного лома, я назло старику спросил:

— Раньше, когда ты был лудильщиком, эта старая посуда, наверно, здесь не валялась бы. Ты бы ее подобрал и отнес домой?

— Нет, мне не удалось бы ее взять, Расул, — добродушно ответил Абуталиб. — Ее подобрали бы до меня.

Навстречу нам попался запоздалый пешеход. Абуталиб, не долго думая, остановил его, попросил табачку, спичек и закурил.

Что говорить, не нравилось мне поведение Абуталиба. Народный поэт Дагестана, прославленный на весь родной край человек, член правительства то играет на сцене как зурнач, то собирается чинить посуду секретарше в издательстве, то просит табачку у случайного прохожего на вечерней улице Махачкалы. Но я не стал выговаривать старику. Я боялся его обидеть. Вместо этого я сказал ему:

— Ты человек уже старый, Абуталиб. Не лучше ли будет для твоего здоровья, если ты бросишь курить?

— Ну вот, сегодня бросай курить, завтра бросай лудить, послезавтра бросай играть на зурне. А стихи в таком случае перестанешь писать поневоле, они сами убегут от меня. Они

знают и любят Абуталиба, того, который лудильщик, курильщик и зурнач. Если же я перестану быть Абуталибом, то зачем я буду нужен моим стихам? Я — Абуталиб Гафуров, а не Расул Гамзатов, который не хочет курить и не умеет лудить, а умеет зато руководить Союзом писателей. Я также не Юсуп Хаппалаев, не Нуратдин Юсупов, не Максим Горький и даже не Зощенко...

(В то время ругали Зощенко, вот его имя и запало Абуталибу.)

— Где прятаться туру, кроме гор? Куда течь ручью, кроме ущелья? Ты не надевай на меня чужую папаху. И что ты все придираешься к моему прошлому? Ну да, я в прошлом зурнач, пастух и лудильщик. Но разве я стыжусь своих прошлых лет? Это ведь тоже был я, Абуталиб. Запомни, Расул, что я тебе сейчас скажу: если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Я оставлял жен, и жены оставляли меня. Но дело, которое я умею делать, не может от меня уйти, и я не могу уйти от него.

Да, это был он, старый поэт Абуталиб, друг моего отца! Таким он был, и таким нужно его принимать. Если бы он стал другим, он одновременно перестал бы быть и Абуталибом и поэтом.

Расскажу еще одну историю, которую можно назвать

НОВАЯ КВАРТИРА АБУТАЛИБА. Это было в то время, когда меня только что выбрали председателем правления Союза писателей Дагестана. У должности этой больше прав, чем обязанностей, и если самому не искать себе работы, то можно спокойно заниматься своим основным делом, то есть писать стихи. Но я тогда еще был горячим молодым человеком. Я начал проявлять активность. Я начал искать себе всяческого дела, связанного с моей новой должностью.

Я думаю, что если человек хочет оценить крепость и устойчивость своего дома, то он начинает с осмотра балок, угловых столбов и вообще всяких опор. Я пригляделся и увидел, что опорой Союза писателей Дагестана являются четыре народных поэта четырех дагестанских народностей: лезгин Тагир Хрюгский, кумык Али Казияв, аварец Загид Гаджиев и лакец Абуталиб Гафуров. Усвоив это, я задумал мероприятие. Я решил, что будет неплохо, если эти четыре старца встретятся с правительством Дагестана. Поэты выскажут правительству свои нужды, правительство выскажет поэтам свои пожелания.

И вот мы беседуем с секретарем обкома Абдурахманом Данияловым. Беседа непринужденная, за чашкой чая, по душам. Мои поэты на седьмом небе от радости и в четыре голоса говорят, какой хороший наш новый председатель Союза Расул Гамзатов. Товарищу Даниялову хорошо с народными поэтами, и он в душе похваливает Расула, а я при сем присутствую как ни в чем не бывало.

Говорим о Дагестане, о жизни, о стихах. Наконец секретарь обкома сказал, чтобы каждый поэт в отдельности высказал какую-нибудь свою просьбу. Первым начал Тагир Хрюгский:

— Очень мне обидно, товарищ Даниялов. Когда приходит холодная зима, на кутанах погибают овцы. Разве нельзя летом послать туда много-много людей, чтобы они заготовили корма на всю зиму?

Товарищ Даниялов записал слова поэта и спросил:

— Больше просьб нет?

— А еще нельзя ли выдать одну автомашину для нашего колхоза в ауле Хрюг?

Слово перешло к Казияву Али. Казияв открыл рот и показал нам всем, и секретарю в том числе, свои старые, больные зубы.

— Вот нельзя ли мне вставить новые, хорошие зубы, а то трудно жевать. Да и петь беззубому не так хорошо. Когда читаешь стихи, приходится шепелявить.

Тотчас же Казияв показал нам на деле, как неудобно читать стихи без зубов. Он прочитал стихотворное послание председателю Хасавюртского горисполкома. В послании содержалась трогательная просьба дать старому поэту угля для отопления дома.

— Ну и что же, дали вам уголь? — спросил Даниялов.

— Дело тянется с прошлого года.

Секретарь снова пометил у себя на бумаге, и мы приготовились слушать Загида Гаджиева.

— Молодые люди на концерте, вместо того чтобы петь, кричат. Своим криком они портят хорошие народные песни. А новые песни такие, что заставляют певцов кричать поневоле. Это все надо остановить. По радио слишком много поют о любви. А иные даже воспевают гурий из старинных сказаний. Скажите им, товарищ Даниялов, чтобы не воспевали гурий, а воспевали бы наших передовиков сельского хозяйства.

Окончив свою речь, Гаджиев повернулся ко мне и шепнул:

— Кроме того, оказывается, вчера Шахтаманов и Сулейманов в ресторане пили вино. Надо запретить писателям выпивать. По этому поводу я к тебе зайду отдельно.

Очередь дошла до Абуталиба.

— Дорогой Абдурахман, — обратился Абуталиб к первому секретарю. — Моя последняя жена родила мне сына.

— То есть как это так «последняя»?

— У меня было много жен. А что ж делать — ведь мои фотографии печатаются в га-

зетах, обо мне говорят по радио, называют меня во всеуслышаине иародным поэтом Дагестана, депутатом, ордеиоиосцем. Легковериые жеищииы идут иа эту приманку, обманываются, думают, что если я такой знамеиитый, то у меия дворец, сундуки добра и мешки денег. И вот они выходят за меия замуж. Но потом оии видят бедиого Абуталиба, сидящего в подвале. Это нм не нравнтся, и они покидают меия. Вот почему я был женат миого раз. Да, дорогой Абдурахман, песии мои улетают в небо, как жаворонки, а сам я продолжаю сидеть в подвале. Из жалкого подвала выпускаю я в небо мои золотые песии. Теперь вот моя иовая жеиа, родившая мие сыиа, грозится уйти от меня, если я ие получу иовую, хорошую квартиру. Она пойдет, прижав ребеика к груди... Слушай, Абдурахмаи, оиа еще не ушла, а мне ее уже жалко,— ие разрушай мою семью, дай мне очаг, где я мог бы оседлать кастрюлю. Мие уже за семьдесят, моя арба катится ие вверх, а под гору, под уклон. Кроме того, если ты дашь мие квартиру, то я приглашу тебя в гости.

Не прошло и неделн, как Абуталиб получил ордер. Прощай, веселый подвал! Наш Абуталиб переехал в трехкомиатиую квартиру на третьем этаже иового дома по улице Пушкииа.

Однажды иа улице мне повстречался Абуталиб. Увидев меия, ои сделал вид, что чего-то ищет в куче железиого лома.

— Здравствуй, Абуталиб, как живешь иа новом месте, иравится ли квартира?

— Да вот который день все ищу колокол, чтобы повесить около дома и звонить, зазывая тебя в гости, сын Гамзата из аула Цада. Трижды я открывал окно в стороиу моря и играл иа зурне, иадеясь, что ты услышишь мою зуриу и придешь на ее зов. Но, видно, ие обойтись без большого колокола. Пойду искать.

Тотчас мы отправились смотреть новое жилище Абуталиба. В новом его жилище были одни лишь стеиы. На полу там и сям лежал скарб Абуталиба, переиесеиный из подвала: старая зуриа, кумуз, старые кузиечные мехи (бог зиает, зачем оии ему в новой квартире), старые керосиики, тазы, ведра, кувшииы, сапоги, тулуп. Старые гости приходили к Абуталибу с гор. У них были старые хурджуиы. Людн с гор приезжали ие только в гости, ио хлопотать о каких-ибудь своих делах. Держа пустой хурджун такого гостя, Абуталиб говорил:

— Проклятый хурджун, почему ты пуст? Если бы ты был иаполиеи чем-нибудь тяжелым вроде баранииы, дело моего гостя сладилось бы гораздо быстрее. Сколько раз из-за того, что ты пуст, людям приходится иапрасио преодолевать гору Чанх!

Так ругал Абуталиб пустой хурджуи, ища глазами место, куда бы посадить меня. Накоиец, ие найдя ничего подходящего, он дал мие в руки большой нож и, подойдя к окну, показал на сарайчик во дворе:

— Там сидит гусь, нди и зарежь его. Это будет наша еда.

Я приоткрыл дверь сарая, кое-как поймал гуся. Гусь отчаянно трепыхался в моих руках, когда я приступил к делу. Сверху донесся голос Абуталнба:

— Кто же так режет? Поверни гуся головой в другую сторону. Ты что, не зиаешь, в какой стороне находится Мекка?

Но вообще-то я со своей задачей справился неплохо и даже в коице концов заслужил одобреиие Абуталиба.

Абуталиб, как у иас говорится, оседлал кастрюлю и долго возился с обедом. Я между тем осматривал его квартиру. Хотя старый поэт и переселился из подвала, ио всю свою подвальиую жизнь, иачииая со старой кастрюли и кончая привычками, ои перенес сюда. В квартире ие было ии одиого стула, ии стола, ии шкафа, ии кровати, никакой мебели вообще.

— Где же ты пишешь стихи, Абуталиб?

— В этих комнатах я не иаписал еще ии одного путиого стихотворения. Сначала я ходил писать в старый подвал, но теперь его передали художиику под мастерскую. Аллах свидетель, даже спится мие здесь хуже, чем в том подвале. У меия там и денег шло меиьше, и времеин было больше. Люди тоже надоедали ие так сильно. Редко кто забредет ко мие в тот подвал. Ну, правда, не было видио моря. А теперь вот оно, всегда перед глазами старого Абуталиба.

Абуталиб долго смотрел иа Каспий, кипящий в это время сине-белым порывистым штормом. Я не мешал ему, мы молчали. Потом Абуталиб сиова заговорил:

— Расскажу тебе, Расул, о двух диях моей жизни: о самом радостиом и самом печальиом дне.

— Расскажи.

— Видишь ли, Расул, радостных дией у меия, коиечио, было иемало. Ордеи дали — я радовался; ордер дали — я радовался; когда в двадцатом году красные дали мие боевого коия — я радовался. И я ездил с красными, и был зуриачом отряда, и иа боевых дорогах мой коиь касался мордой крупа коия нашего комаидира. И это тоже для меия была радость. Но все же самая первая и самая большая радость была ие та. Я был тогда одиииадцатилетним мальчиком и пас телят. И вот отец подарил мие первые в жизни чарыки. Не найдется слов, чтобы передать гордость, которая подиималась в моем сердце от этих иовых чарыков. Я смело ходил по ущельям, по тем тропиикам, где еще вчера ранил ноги об острые холодиые камни. Теперь же я твердо иаступал на эти камии, не чувствуя ии болн, ии холода. Моя

радость длилась ровно три дня, а вслед за ней пришли и самые горькие минуты моей жизни. На четвертый день мой отец сказал: «Ну вот, Абуталиб, теперь у тебя есть новые, крепкие чарыки, у тебя есть палка, у тебя есть за плечами одиннадцать лет, прожитых на земле. Пора тебе отправляться в путь, чтобы самому кормить и одевать себя». Отец сказал, чтобы я шел по аулам и собирал милостыню. В этот час я пережил больше душевных мук, чем за всю остальную жизнь. Слезы и потом падали из моих глаз, но это уж были не такие горькие слезы. Один писатель сказал про меня: «Абуталиб получил новую квартиру. Посмотрим, какие стихи он в ней напишет». Как будто я не знаю, что стихи не зависят от квартир. Поэт — сам квартира для своих стихов. Сердце поэта — вот где жилище его поэзии. Во мне живут все, и радостные и горестные, мгновения моей жизни. А где живу я сам, не имеет значения.

Квартира Абуталиба произвела на меня сильное впечатлеиие. Я рассказал о ней руководителям Дагестанской республики, и было решено использовать часть гонорара Абуталиба за его киигу «Ласточки летят на юг», чтобы купить для новой квартиры поэта иовую, хорошую мебель. Была создаиа «оперативная тройка»: директор Дагестанского книжного издательства, министр торговли и я. Мы должны были найти всю необходимую мебель, купить ее и перевезти на квартиру Абуталиба. Все переговоры с ним, которые могли возиикнуть по ходу дела, было поручено вести мне.

Мы втроем объездили все склады Махачкалы и подобрали, что нужно: спальню — пусть отдыхает с удовольствием наш народный поэт, кабинет — пусть он пишет свои замечательные стихи, столовую — пусть вкусно ест и сладко пьет.

Мы думали, что, получив всю нашу мебель и расставив ее, Абуталиб прибежит, чтобы рассыпаться в благодарностях. Но от него не прилетело к нам и простого спасибо или хотя бы подтверждения, что мебель уже на месте. Тогда мы сами решили пойти проведать Абуталиба и посмотреть, как он распорядился нашими покупками.

Стучаться нам не пришлось, так как дверь в квартиру была открыта. Мы вошли в комнату. Рядом с обеденным столом, иа полу, на ковре, сидел Абуталиб со своей семьей. Они сидели на корточках кружком. Перед иими на газете лежала еда. Абуталиб хлебал кефир из тарелки. Абуталиб поглядывал на полированный обеденный стол, как на девушку, которая набивается в объятья, но обнимать которую он, Абуталиб, не имеет никакого желания.

В другой комнате мы увидели прекрасный письменный стол. На нем лежали нетронутыми бумага, ручки, стояла чернильница. Эти предметы, как, впрочем, и сам стол, походили скорей на музейные экспонаты, нежели на предметы обихода. В противоположиом коице комнаты на полу лежали листочки бумаги, исписанные арабским шрифтом.

— Что ж, Абуталиб, разве ты не умеешь пользоваться современным алфавитом?

— Умею, но привык писать по-старому. Сначала напишу арабским шрифтом, а потом для редактора переписываю по-нашему, вроде бы как перевожу сам себя.

— И на кровати еще ни разу не спал, — сообщила нам жена. — Напрасио только вы покупали такие дорогие вещи.

— А, что кровать?! В первое время, в первый год моей жизни в городе, я вместо подушки клал горный камень и спал крепче, чем на подушке. Спать на камне я привык, когда пас телят.

— Так, значит, ты недоволен обстановкой, которую мы тебе подобрали? Этим кабинетом, этими стульями, столом, шкафом?

— Мебель очень хороша. Но она больше подошла бы для моего соседа Годфрида Гасанова.

— Хороший сосед Годфрид Гасанов?

— Может быть, он и хороший человек, но мы с ним не ладим.

— Почему же?

— Слишком уж он культурен. Кроме того, я слишком деревенский, а он слишком городской. Я слишком горный, а он слишком равниниый. Папахи у нас тоже разиые. Навериое, не одинаковые и головы. Я сын своей земли, а он сын своего ремесла. Он терпеть не может мою зурну и ее песни, а я терпеть не могу его пианино и его симфонии. Стараюсь получить удовольствие от его музыки и не могу. И он тоже — только я возьму в руки зурну, он уже стучит: «Абуталиб, мешаешь работать». Я ему нарочно говорю, что это, мол, ие я, а радио. И правда, были случаи, он стучался ко мие, когда по радио играла зурна. Выходит, он запрещает мие не только самому играть на зурне, но и слушать игру зурны по радио. Одним словом, не похожи мы друг на друга. Ко мие приезжают гости с гор, из аулов с хурджунами, а к нему из Москвы с портфелями. У меня для гостей — буза и хинкалы с чесноком, а у него — коньяк и кофе. Я хожу на базар, а он в магазин. Когда я сплю, он пишет, когда он спит, я пишу. Он любит цветы, которые растут на городской клумбе, а я люблю цветущие травы на высокогорных лугах. Слышите, он и сейчас играет какую-то свою симфонию.

Абуталибова соседа мы хорошо знали. Это был заслуженный деятель искусств Дагестана

и Российской Федерации Годфрид Алиевич Гасанов. В то время он работал над своим концертом для фортепьяно. Я с наслаждением слушал его тонкую, вдохновенную музыку. Я думал: «Какая воистину великолепная симфония получилась бы, если бы слить в один эти два больших и сильных таланта: простой народный талант Абуталиба и профессиональный, образованный талант Гасанова».

А еще я подумал, что было бы большой удачей, если бы в моих стихах, в моих книгах я смог соединить эти две струи: простодушный характер моего народа, его непосредственную открытую душу — с отточенным мастерством профессионала. Я хочу, чтобы Абуталиб и Годфрид соединились в моих стихах. Я хочу, чтобы их соседство в моем творчестве было мирным, не таким, как соседство по дому.

Да, я надеюсь на содружество этих двух начал. Но все же, если бы его не могло быть и если бы меня заставили выбирать... Пожалуй, в конце концов самому тонкому цивилизованному напитку я предпочел бы ледяную хрустальную струю горного родника. И то сказать, культура, цивилизация, тонкости профессии — дело наживное. Если их нет, их можно приобрести, в то время как национальные народные чувства даны человеку от рождения. Народный поэт и зурнач Абуталиб в других условиях мог бы стать профессиональным музыкантом и даже композитором, но профессиональный композитор и музыкант Годфрид никогда не может стать простым народным певцом.

Когда мы прощались, Абуталиб вдруг спросил:

— Нельзя ли, Расул, провести ко мне телефон?

— Зачем тебе телефон, если ты отказываешься даже от письменного стола и от кровати?

— По телефону я буду играть на своей зурне. Иногда Николаю Тихонову в Москву, иногда председателю нашего колхоза. Должен же председатель знать, что я еще жив, что моя зурна поет все те же самые песни. Послушав мою зурну по телефону, председатель поймет, что в моей городской квартире живут звуки и запахи наших гор.

— Полно, Абуталиб, твои мелодии, напоенные ароматами гор, и без телефона долетают и до Москвы, и до родного аула, и до всех дагестанских аулов, и во все стороны белого света. Они летят выше гор.

Теперь я попрощаюсь с Абуталибом и расскажу вам случай, который произошел со мной и моим отцом.

ВОСПОМИНАНИЕ. У нас почему-то не было заведено читать стихи друг другу и даже разговаривать о них. Я узнавал о новых стихах отца, когда они уже были опубликованы или читались по радио. Или когда друзья, слышавшие эти стихи, говорили о них. Точно так же и отец не знал моих новых стихов, пока они не были напечатаны.

В 1949 году аварская газета опубликовала мою поэму «Год моего рождения». Газета, естественно, побывала в руках отца, и вот я обнаружил экземпляр этой газеты с карандашными пометками. Оказывается, отец внимательно прочитал мою поэму и очень многие строки переделал на свой лад. Легко было заметить, что отец заменял мои наиболее витиеватые строки, ему не нравились мои наиболее сложные метафоры, наиболее броские сравнения. В строках, написанных поверх моих строк, отец старался выразиться проще, яснее, доходчивее.

Я жалею и до сих пор, что не сохранилось этой газеты с исправлениями Гамзата. У меня привычка: как только стихи опубликованы, я сжигаю все черновики и все рукописные варианты.

Большинству исправлений я был рад. Я увидел, что поэма стала лучше, но со многими поправками я не согласился. Я говорил отцу:

— Конечно, ты мудрее, талантливее, крупнее меня. Но я ведь поэт другого времени. У меня другая школа, другие литературные пристрастия, другой стиль — все другое. В этих поправках сразу виден поэтический почерк Гамзата Цадаса. Но я ведь не сам Гамзат, а всего лишь Расул Гамзатов. Позволь мне иметь свой стиль, свою манеру.

— Ты не совсем прав. Твой стиль, твоя манера, то есть твои нрав и характер, должны стоять в стихах на втором месте. На первое же место нужно поставить нрав и характер своего народа. Сначала ты горец, аварец, а потом уж Расул Гамзатов. Ты высказываешься в своих стихах так, как никогда не высказался бы ни один горец. Если же твои стихи будут чужды духу горцев, их характеру, то твоя манера обернется манерничанием, твои стихи превратятся в красивые, хотя, может быть, даже и интересные игрушки. Откуда возьмется дождь, если не будет тучи? Откуда возьмется снег, если не будет неба? Откуда возьмется Расул Гамзатов, если не будет Аварии и аварского народа? Откуда возьмутся твои собственные законы, если не будет общих для народа законов, выработанных веками?

Вот какой разговор произошел однажды между мной и моим отцом. Все мои остальные годы, все мои остальные дороги подтвердили потом правоту отца.

ПРИТЧА О ТРЕТЬЕЙ ЖЕНЕ. Молодой дагестанский поэт поехал учиться в Москву в Литературный институт. Прошел год, и вдруг появилось объявление, что наш студент разводится со своей женой, женщиной из далекого горного аула.

— Почему ты разводишься? — спросили мы у него. — Женился ты недавио, женился, как видно, по любви, что же произошло?

— Между нами нет теперь общего языка. Она не знает Шекспира, она не читала «Евгения Онегина», она не знает, что такое «Озерная школа», она никогда не слышала о Мериме.

Вскоре молодой поэт приехал в Махачкалу с женой-москвичкой, как видно, слыхавшей и о Мериме и о Шекспире. Один только год прожила она в нашем городе, и пришлось ей снова возвращаться в Москву, ибо муж объявил развод.

— Почему ты разводишься? — спросили мы у него. — Женился ты недавно, женился, как видно, по любви, что же произошло?

— Между нами, как оказалось, нет общего языка. Она не знает ни слова по-аварски, не знает наших аварских обычаев, не понимает характера горцев, моих земляков, не хочет видеть их у себя гостями. Она не знает ни одной аварской пословнцы, ни одной аварской загадки, ии одной песни.

— Что же ты будешь делать?

— Придется, наверно, жениться в третий раз.

Мне кажется, что, прежде чем искать третью жену, молодому поэту нужно найти себя.

Пусть моей книге будут сродни и горы Аварии, и сонеты Шекспира. Я хочу, чтобы моя книга была той самой третьей женой, которую до сих пор ищет молодой дагестанский поэт.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. В Махачкале построили сорокаквартирный писательский дом. Началось распределение. Одни требовали, чтобы квартиры распределялись соответственно таланту, другие говорили, чтобы учитывалось количество детей.

Нужно сказать, что распределение квартир среди писателей — трудное дело. Но кое-как все утряслось. Сорок писательских семей въехало, справило новоселье, а на другой день двадцать писательских жен дружно укатили в Москву. Возвратились оии через несколько дней усталые, исхудавшие, как после войны. Несколько позже, багажом, иачала прибывать новая московская мебель.

Оказывается, сначала они очеиь долго искали и выбирали. Потом одиа осмелилась, купила. Другие ие хотели, чтобы у иих мебель оказалась хуже. На иесчастье, первая жена купила самую дорогую мебель, и перещеголять ее покупку было нельзя. В результате все двадцать квартир похожи одна на другую, как похожи зубья одной расчески. Придя в такую квартиру, нельзя сказать, что в ней живут аварцы.

В других квартирах, едва вы переступаете порог, вам в нос бросается крепкий запах вяленого мяса, сушеной домашней колбасы, бузы, овчины, жареного бараньего сала. Да, здесь видно, что живут аварцы, но не видно, что живут писатели, которые имеют понятие о духе и стиле времени.

Пусть каждый, кто будет читать мою книгу, сразу поймет, что здесь живут аварцы, но пусть он сразу поймет и то, что здесь живет его современник, человек XX века.

Я не хочу ни только тени, ни только солнца. Пусть в моей квартире будут большие солнечные окна, но пусть в ней будут и тенистые укромные уголки. Я хочу, чтобы каждый гость чувствовал себя в моей квартире легко, свободно, непринужденно, чтобы ему не хотелось из нее уходить, вернее (если говорить о гостях), чтобы они уходили из нее с сожалением и с желанием вернуться вновь.

Однажды в Японии мы, представители разных стран, стали делиться своими впечатлеииями. Мы стояли у фонтана, который был выложен, казалось, нашими дагестанскими камнями, теми самыми, которыми в ауле выложено место, где собирается годекан.

— Удивительная страна, — первым сказал американский композитор. — Мне кажется, в лике Японии я узнаю лик индустриальной Америки.

— Что вы, — возразил журналист с Гаити. — Я только что вернулся из японской деревни — больше всего Япония похожа на наш небольшой остров.

— Не спорьте, господа, все веселье и вся грусть Парижа сосредоточены здесь, — возразил им обоим французский архитектор.

А я смотрел иа камни японского фонтана, которые, казалось, привезены из аварского аула, и думал: «Удивительная страна Япония. В ней есть все, что есть в других странах мира, но в то же время она не похожа ни на одну другую страну. Она — Япония».

Пусть и в тебе, моя книга, каждый найдет свое, но все же останься моей книгой, будь сама собой, будь не похожей на все другие книги. Ты мой аварский, мой дагестанский дом. Пусть в этом доме рядом с тем, что лежит века, лежит и то, что в нем еще иикогда ие лежало.

ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Литературное произведение, если в нем ие видно автора, все равно что конь, бегущий по дороге без всадника.

ГОВОРЯТ: У одного горца рождались все время дочери, а он мечтал иметь сына. Каждый считал своим долгом дать неудачливому отцу какой-нибудь совет. Столько ему насоветовали, что он, наконец, рассердился и сказал:

— Перестаньте, наслушавшись ваших советов, я разучился и тому, что умел.

ЗДАНИЕ ЭТОЙ КНИГИ. СЮЖЕТ

Мы камни. Скоро в стену ляжем мы
Дворца, сарая, храма иль тюрьмы.

Надпись на камне

На драгоценный камень смотрят в оправе, на человека — в доме.

Свадьба сыграна — надо строить жилье.

Просторные дворцы моих мыслей, тяжелые башни размышлений, дома рассказов, возвышенные шпили стихов... Вот я навозил камня, приготовил бревен, выбрал место для возведения нового здания. Теперь мне надо быть всем понемногу — зодчим, инженером, математиком, каменщиком, плановиком.

Какое здание воздвигнуть мне? Какие очертания придать ему, чтобы радовало глаз? Чтобы оно было стройное и красивое, чтобы оно было невиданным до сих пор и казалось знакомым. Не такое, чтоб головами задевать за потолок, как в теперешних малогабаритных квартирах, но и не такое, чтобы на потолок смотреть, задирая голову. Не такое, чтобы в дверь не протащить обыкновенного стола, но и не такое, чтобы в двери проезжать на верблюде. Не такое, чтобы оно было проходным двором или клубом, где послушают концерт и уйдут, но и не такое, чтобы оно было мечетью, куда приходят только помолиться. Чтобы оно не годилось под контору, набитую справками, заявлениями, и чтобы оно не было похоже на вечно крутящуюся мельницу Али.

Прочитав поэму молодого горца, отец сказал:

— Слишком красивы стены у этой поэмы. Она похожа на курятник, который построил Аликебед. Курятник не должен напоминать дворец, а дворец не должно употреблять под курятник.

Когда же отец прочитал слишком длинный рассказ другого писателя, рассказ, который писатель, казалось, не может никак закончить, он сказал писателю:

— Ты открыл дверь, которую тебе не закрыть. Ты отвернул кран, который тебе не завернуть. Ты слишком размочил веревку, когда затягивал узел.

В детстве, я помню, в наш аул приходили певцы. Я лежал на краю крыши, смотрел вниз на улицу и слушал певцов. Они подыгрывали себе кто на бубне, кто на скрипке, кто на чонгуре, а чаще всего на кумузе. Они приходили из разных мест и в разное время. Они пели разные песни и ни разу не повторяли одну песню дважды. Особенно мне нравилось, когда два-три певца начинали соревноваться между собой.

Песни были длинные, и я их все перезабыл. Но все же из каждой почти песни остались в памяти где четыре, где восемь строк, где две строки. Наверно, эти запомнившиеся строки были самыми поэтичными, либо самыми умными, либо самыми острыми, либо самыми веселыми, либо самыми печальными.

Не знаю, почему мне запомнились именно эти строки, а не другие, но я ношу их в себе до сих пор и твержу иногда как самое заветное, самое близкое, как имя любимой.

Впрочем, и в других аварских песнях, которые я знаю наизусть с начала до конца, у меня все равно есть избранные строки, которые я люблю больше, чем всю остальную песню.

Да что песня?! В своих собственных стихотворениях я тоже выделяю и тоже люблю некоторые строки, которые кажутся мне удачнее, сильнее, поэтичнее остальных. Признаюсь вам по секрету, у меня есть длинные стихотворения, которые я написал ради нескольких дорогих мне строк.

Эти строки: если стихотворение — ремень, то они кинжал на ремне; если стихотворение — поле, то они колосья в поле; если стихотворение — птица, то они крылья птицы; если стихотворение — олень, стоящий на краю скалы, то они глаза оленя, смотрящие вдаль.

Однажды я подумал: если в стихотворении мне особенно дороги, скажем, восемь строчек, то зачем я пишу еще восемьдесят? Нельзя ли сразу так и писать эти восемь самых лучших строк? Вот почему я написал целую книгу восьмистиший.

Обрадовавшись приходу гостя, горец хватает нож и режет быка. Но гостю нужен был всего лишь небольшой кусок мяса. Никакой гость быка съесть не может.

«Зачем же и мне, — подумал я, — резать целого большого быка, если мне хватит и одной курицы?»

Вот почему из книги, которую я когда-нибудь напишу, мне хотелось бы убрать все лишнее и оставить только те места, которые мне все равно были бы дороги, если бы даже книга была в десять или двадцать раз длиннее.

Однажды в моем присутствии молодой лакский поэт читал Абуталибу свои стихи. Он прочитал десять стихотворений. Когда поэт ушел, Абуталиб сказал мне:

— А все-таки он молодец, из него выйдет толк.

— Тебе понравились его стихи?

— Все стихи у него слабые. Но было восемь строк, за которые можно отдать крепость, только что завоеванную в бою. Такого восьмистишия еще никто по-лакски не написал.

Но если в стихотворениях и песнях существуют незабываемые строки — четверостишия, восьмистишия, — то точно так же существуют встречи и дни, а для страны — события и подвиги, которые остаются в памяти. Я хотел бы включить их, вмазать, вмонтировать в стены моего нового здания — моей новой книги. Мне не хотелось бы подменять их красивыми разъяснительными словами, пусть они говорят сами.

Март на побережье моря всегда бурный месяц. Однажды в марте над Махачкалой пролетел ураган. Столкнулись два ветра: один — прилетевший с Каспия, другой — спустившийся с гор. Один врезался в город, разогнавшись на морском просторе, другой обрушился, свалившись с большой высоты. Ветры сцепились в жестокой схватке, переплелись, и пошла борьба. Когда борются два великана, опасно путаться у них под ногами. На этот раз под ногами у борющихся оказалась Махачкала.

Все, что плохо лежало, все, что плохо держалось за землю, тотчас полетело по ветру. Летели тощие деревца, пустые ящики, крыши хибарок, фанерные ларьки, всякий мусор.

Но прочно и гордо стояли, крепко вцепившись в землю, старые деревья и большие дома. Все легковесное и непрочное было унесено, а основательное и устойчивое осталось.

ТОЧНО ТАК ЖЕ: события, чувства, мысли человека бывают такими, что их уносит даже легким ветерком времени, но они бывают и такими, что даже могучим житейским ураганам не под силу развеять и сдуть их.

Из этих устойчивых событий, из этих мыслей, из этих чувств мне и нужно строить здание книги. Оно должно быть построено в традиционном аварском стиле, но в то же время должно быть и современным. Дом нужен такой, чтобы и семья была рада в нем жить, но чтобы и гость был доволен. Дом должен быть такой, чтобы дети находили в нем свое счастье, молодые — свою любовь, старые — свой покой.

Моя книга — мой Дагестан. В каких очертаниях я вижу тебя? С чем сравню? С парящим орлом? Но орел не дело рук человеческих, его творила природа, и от нашей мысли в нем нет ничего. Тогда, может быть, с самолетом? Но самолет летает слишком высоко над землей, а когда катится по земле, то вокруг него только пейзаж аэродрома. Не люблю, когда на землю взирают с высоты и говорят о ней с высоты.

Нет, я вижу очертания такого аппарата, который летает, как самолет, ездит, как поезд, и плавает, как корабль. Я на нем и летчик, и машинист, и кормчий. Наша отправная станция — наш аэродром, наша пристань, наше депо — тысячелетний бессмертный Дагестан. Отсюда мы можем мчаться по воздуху, по суше и по воде в любые края земли. Туда, где я уже побывал, или туда, где побывала хотя бы моя мечта. Мы едем, летим, плывем. В окнах видны белоснежные горы, изумрудные сочные луга, широкие реки, безбрежные океаны. Бурная весна, кроткая осень, жестокая зима и знойное лето проплывают мимо наших окон. А сколько пассажиров вокруг меня! Тут и мюриды Шамиля с повязками, сквозь которые проступает кровь, и горцы-партизаны, и мои современники — люди разных профессий. Вокруг меня все, кого я когда-либо видел, встречал, с которыми разговаривал и которых запомнил.

Да, в мою книгу-поезд, книгу-самолет, книгу-пароход нужен единственный билет или пропуск: чтобы я запомнил. Чтобы люди и события были, как те восьмистишия и строки, которые запали в мою память из длинных песен, исполнявшихся бродячими певцами. Чтобы они были, как те восемь строк, которые отметил Абуталиб, прослушав десять длинных стихотворений поэта. Чтобы они были, как те деревья и те дома, которые устояли под ураганом, в то время как все легковесное и неустойчивое унесло наподобие осенних листьев.

Иначе я уподобился бы Муслиму из аула Казаницы. Расскажу вам теперь, что с ним случилось.

В мае, когда овец из душной, пыльной степи угоняют в зеленые прохладные горы, Муслим из аула Казаницы попросил у Союза писателей командировку, чтобы написать очерки о перегоне овец. Впрочем, может быть, это было в сентябре, когда овец, наоборот, с холодных уже к этому времени гор перегоняют на зимовку в более теплые степи. Командировку мы Муслиму дали. Муслим уехал и добросовестно прошел весь путь вместе с чабанами и отарами. Когда он возвратился, то блокноты, исписанные им, везли на отдельной лошади. Оказывается, он изо дня в день записывал все, что видел. Ничего, никакая мелочь не ускользнула из-под его карандаша. Увидев коня, записывал про коня, увидев чабана, записывал про чабана, увидев овцу, записывал про овцу.

А ведь сколько там было чабанов и овец! Писал он и о том, что увидел, и о том, что услышал. И опять-таки не пропустил ни одного рассказа. Писал он и о тех, кто забегал вперед и кого приходилось удерживать, и о тех, кто отставал и кого приходилось подталкивать. Книга о дороге получилась длиннее, чем сама дорога. Получилась книга, на чтение которой нужно потратить столько же времени, сколько потратил Муслим на само путешествие. Чабаны рассказывали нам потом, что, когда поднимались на Гемринский хребет, повстречался мул. Мало того что Муслим, увидев этого мула, тут же взял беднягу на карандаш, — ему захотелось поглядеть на каждое из четырех копыт. Муслим бросился к мулу, схватил его за заднюю ногу и хотел поднять. Но мул не мог знать благих намерений писателя и всей важности события, он нетактично лягнул досужего Муслима и попал как раз в нос.

Чабаны смеялись вокруг:

— И это должен записать Муслим.

Конечно, мул — животное капризное и с дурным нравом, но в этом случае он, пожалуй, был прав. Излишняя назойливость должна быть наказана.

Потом обсуждали труды Муслима в Союзе писателей. Шутя мы спросили у него:

— Скажи, Муслим, в твоей книге написано обо всем, начиная с осленка из аула Хариколо и кончая копытом мула. Почему же ты пропустил безрогого козла?

— Что вы, как можно пропустить! Безрогий козел у меня тоже есть, но только я сказал о нем на местном диалекте. Он у меня называется «хаиква».

Мы все посмеялись, но потом все же попытались вразумить Муслима, что писатель не должен писать обо всем, что увидит, но должен выбирать из всего только то, что ему нужно. Одна фраза может выразить большую мысль. Одно слово может выразить большое чувство. Один эпизод может выразить все событие.

Не так давно у нас проводились всевозможные реорганизации. И сейчас мы нет-нет да что-нибудь реорганизуем. Я тоже заразился этим. Я реорганизую жанр, которым владею. Я собираю все жанры в одну книгу, осуществляю общее над ними руководство. В одном случае я сокращаю штаты, в другом увеличиваю. Меняю жанры местами, сливаю два в один, а один разделяю на два. Если очень много реорганизовывать, то одна какая-нибудь реорганизация хотя бы случайно получится удачной.

ПРИТЧА О ГОРЦЕ, ПРИЕХАВШЕМ В МАХАЧКАЛУ. Горец приехал в Махачкалу в командировку. У него было много денег, к тому же они были командировочные. Обедал и ужинал он в ресторане. В день приезда он кричал на весь ресторан:

— Официант, еще коньяку!

Все слышали, оборачивались в его сторону и дивились, кто это такой, кто так много пьет и не жалеет денег на дорогой коньяк.

В последний день командировки наш горец тихонько, шепотом спрашивал у того же официанта:

— А почем у вас в ресторане лапша?

Итак, быка узнают не в начале пашни, а в конце, не по тому, как он брыкается на лугу, а по тому, как он ходит в ярме. Не тогда говорят о коне, когда на него садятся, а когда с него слезают.

Не раздуваю ли я свою книгу, как ансалтинцы трубу? Не делаю ли я деревянной печи наподобие сиюхцев? Не убиваю ли я собаку вместо волка, как это сделали однажды мои земляки-цадинцы?

Когда начинаешь путь к цели, цель далека. Хватит ли у меня смелости, любви и терпения, чтобы ее достичь? Или придется в конце пути почесывать себе затылок и думать, почем лапша?

ВОСПОМИНАНИЕ. Однажды в Дагестан пришла лютая зима. Неожиданно выпал снег, который покрыл землю чуть ли не на метр. Овцы и ягнята остались без корма. Они начали гибнуть. Меня вызвали в обком партии и говорят:

— Поезжай, Расул, на кутаны, нужно спасать овец.

— Какую же помощь я им окажу?

— На месте увидишь. Придумаешь. Надо найти пути для их спасения.

Дороги к овцам я не знал как следует и в хорошую погоду, каково же мне было искать ее в пургу! Но партийная дисциплина превыше всего, и я брел сквозь снег и ветер. Наконец я набрел на одну кошару. Меня встретили печальные чабаны. Слезы на их щеках и усах превратились в ледяные мутные бусинки. Окровавленными мордами овцы пытались сквозь обледенелый снег добраться до травы. Но прогрызть ледяную кору они не могли и погибали. Собаки спрятались от ветра в укромные места, не думая ни о волках, ни о ворах. Одним словом, бедствие и беспомощность — вот что я нашел здесь. Увидев меня, чабаны горько засмеялись:

— Чего нам не хватает сейчас, так это стихов и песен. Ведь ты пришел, чтобы читать нам стихи или спеть нам песню, о сын Гамзата из аула Цада? Ты лучше изобрази нам плач, а мы тебе будем подвывать.

Три дня я просидел в шалаше чабанов, а потом, увидев, что никакой пользы от меня нет и не может быть, показал чабанам свою спину. Путь мой лежал к Махачкале.

— Ну как, спас овец? — спросили меня в обкоме.

— Трех баранов я спас.

— Каким образом, расскажи?

— Очень просто, чабаны зарезали трех баранов, и мы их съели. Считаю, что этих баранов я спас.

— Ладно, — рассердились в обкоме, — иди занимайся своими стихами, а спасать овец мы будем, как видно, без тебя. А чтобы лучше писались стихи, объявляем тебе строгий выговор.

Не случилось бы подобного и с моей книгой. Выхожу спасать отары, но с чем вернусь? День, начинающийся на рассвете, не всегда бывает таким, как нам бы того хотелось.

ВОСПОМИНАНИЕ. Помню первый день учебы в Литературном институте в Москве. Только мы начали учиться, а у меня день рождения. Конечно, меня не поздравляли, потому что никто еще не знал, что я в этот день родился. У меня были отложены деньги на покупку пальто, мне их дал отец.

«Давай-ка, бедный Расул, — сказал я, — сделаем в день рождения подарок самому себе — купим пальто». Взял я деньги и пошел на Тишинский рынок.

В те первые послевоенные годы что за рынки были в Москве! Свои законы, свои спекулянты, свои милиционеры. Наверно, там можно было купить все, за исключением разве осла или ослицы.

Больше всего Тишинский рынок походил на растревоженный муравейник. Целый час я толкался среди людей, трясущих перед самым моим носом разным барахлом: костюмами, сапогами, фуражками, платьями, кофтами, туфлями...

В то время мне хотелось походить на министра. Среди толчеи я искал такое пальто, чтобы как надеть — так сразу и сделаться министром. Наконец я увидел нечто подходящее, перекинутое через плечо одного спекулянта. Вдобавок ко всему была еще и фуражка — под цвет пальто, из того же материала.

Начал я, конечно, с фуражки. Примерил, посмотрелся в зеркальце — настоящий министр. Давай торговаться. Пока я громко и внятно называл маленькую цену, продавец будто меня не слышал. Когда же я тихонько, шепотом назвал ему настоящую цену, он услышал, как артист слышит самую тонкую лесть. Ударили по рукам. Чтобы удобнее считать все мои трешки и пятерки, я отдал пальто спекулянту подержать. Насчитал две тысячи двести пятьдесят рублей. Вручил деньги. Торжественно, с видом министра, пришел в общежитие. И только тогда вспомнил, что пальто осталось в руках у спекулянта. За две тысячи двести пятьдесят рублей купил я одну фуражку.

Итак, мечтая походить на министра, я остался без пальто и без денег. Не получилось бы то же самое и с моей книгой!

Все знают, что им нужно, но не все имеют. Все видят свою цель, но не каждый ее достигает. Есть люди, которым кажется, что они знают, как нужно писать книгу, но они не умеют ее написать.

ГОВОРЯТ. Одна и та же игла шьет и свадебное платье, и саван.

ГОВОРЯТ. Не открывай дверь, которую не сумеешь потом закрыть.

ТАЛАНТ

Гореть, чтобы было светло.

Надпись на лампаде

ПРИТЧА О ПОЭТЕ И ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ. Рассказывают, что один незадачливый доселе поэт поймал в Каспийском море золотую рыбку.

— Поэт, поэт, отпусти меня в море, — взмолилась золотая рыбка.

— А что ты мне за это дашь?

— Все твои тайные желания будут исполняться.

Поэт обрадовался и отпустил золотую рыбку. Откуда ни возьмись посыпались на поэта удачи. Одна за другой вышли книги его стихотворений. У него появились дом в городе и великолепная дача за городом. Поэт сделался знаменитым, его имя узнали все люди. Весь мир лежал перед ним, как готовый, уже и поджаренный, и посыпанный луком, и обрызганный лимоном, шашлык. Протяни руку, бери, наслаждайся.

И вот однажды, когда он был уже академиком, депутатом и лауреатом, жена ненароком обронила:

— Ах, зачем же ко всему этому ты не попросил у золотой рыбки еще и таланта?

Поэта слово осенило, словно он понял, что ему не хватало все эти годы. Побежал он к морю, обратился к золотой рыбке:

— Рыбка, рыбка, дай хоть немного таланта.

Отвечала золотая рыбка:

— Все я тебе дала, что ты сам пожелал. Все и впредь я могу тебе дать, что пожелаешь.

А вот таланта дать не могу. У меня у самой его нет, поэтического таланта.

Итак, талант либо есть, либо нет. Его никто не может дать и никто не может отнять. Талантливым нужно родиться.

Поэт наш, всячески облагодетельствованный золотой рыбкой, вскоре почувствовал себя вороной, наряженной в павлиньи перья. Вся радужная красота искусственного оперения вскоре отпала, да к тому же за эти годы и собственные перья частично повыпали, и стал поэт хуже, чем был.

Молитва от повторения не портится, повторю и я еще раз. Чтобы писать, нужен талант, а где же его возьмешь, если его нет даже у золотой рыбки.

МОЙ ОТЕЦ РАССКАЗАЛ. Один горец из далекого аула пришел к отцу и стал читать свои стихи. Отец внимательно выслушал новоявленного поэта, затем отметил наиболее слабые и беспомощные места. Затем он объяснил горцу, как он сам, Гамзат из Цада, написал бы эти стихи.

— Но, дорогой Гамзат, — воскликнул горец, — чтобы написать так, нужен талант!

— Пожалуй, ты прав, немного таланта тебе не помешало бы.

— А где его взять, посоветуйте, — обрадовался горец, не поняв иронии в ответе Гамзата.

— В магазинах я сегодня был, там его нет, разве что поискать на базаре.

Неизвестно, откуда берется в человеке талант. Неизвестно, земля или небо его дают. Или, может быть, он сын земли и неба? Неизвестно также, где он помещается в человеке: в сердце, в крови, в мозгу? С самого рождения он уже гнездится в маленьком человеческом сердце или человек находит его потом, совершая свой нелегкий путь по земле? Что больше питает его: любовь или ненависть, радость или печаль, смех или слезы? Или нужно все это — и одно, и другое, и третье, — чтобы талант рос и креп? Передается ли он по наследству или человек накапливает его в себе в результате всего, что он увидел, услышал, прочитал, пережил, познал?

Результат труда или игра природы? Цвет глаз, с которыми человек родился, или мускулы, которые он нарастил себе ежедневной тренировкой? Яблоня, взращенная кропотливыми усилиями садовода, или яблоко, упавшее с дерева прямо в ладони мальчика?

Талант — нечто настолько таинственное, что, когда всё будут знать про Землю, про ее прошлое и будущее, когда всё будут знать про Солнце и звезды, про огонь и цветы, когда всё будут знать даже про человека, — в последнюю очередь все-таки узнают, что такое талант, откуда он берется, где помещается и почему он достается этому человеку, а не тому.

Таланты двух талантливых людей не похожи друг на друга, ибо похожие таланты — это уже не таланты. Тем более талант не зависит от внешнего сходства людей, его носящих. Я встречал много лиц, похожих на лицо моего отца, но отцовский талант я не встречал нигде.

Талант не передается по наследству, иначе в искусстве царили бы династии. Нередко от мудреца родится глупец, а сын глупца вырастает мудрым человеком.

Талант, вселяясь в человека, не спрашивает ни о величии государства, в котором человек живет, ни о численности народа. Приход его всегда редок, неожидан и поэтому удивителен, как блеск молнии, как радуга в небе или как дождь в омертвевшей от зноя и уже не ждущей дождя пустыне.

КАК Я ПОТЕРЯЛ КУНАКА. Однажды, когда я сидел за своим столом, к моему дому подъехал молодой всадник.

— Салам алейкум!

— Ваалейкум салам!

— Я приехал к тебе, Расул, с одной небольшой просьбой.

— Заходи в дом, клади просьбу на стол.

Молодой человек вынул из кармана и действительно положил на стол несколько бумажек. Первая из них оказалась письмом большого отцовского кунака, да и моего частого гостя. Друг нашего дома и нашей семьи писал: «Дорогой Расул, этот парень — наш близкий родственник и хороший человек. Помоги ему стать таким же известным поэтом, как ты сам».

Остальные бумажки оказались: справкой из сельсовета, справкой из колхоза, справкой из парторганизации и характеристикой.

В справке из сельсовета говорилось, что такой-то действительно является племянником знаменитого поэта Махмуда из Кахаб-Росо и что сельсовет считает его достойной кандидатурой в известные дагестанские поэты.

В других справках указывалось, что племяннику Махмуда исполнилось двадцать пять лет, что он окончил девять классов и что он совершенно здоров.

— Ну, прекрасно, — сказал я. — Давай посмотрим твои произведения, может быть, ты действительно талантлив и станешь со временем известным поэтом. Я был бы рад помочь тебе, чем смогу, и тем самым выполнить просьбу нашего общего друга.

— Как! Но меня и послали к тебе, чтобы ты научил меня писать стихи. Я еще никогда не пробовал.

— А что ты делаешь?

— Работаю в колхозе. Но толку от этой работы мало. А семья у нас большая. Вот и надумали послать меня в поэты. Я знаю, что мой дядя Махмуд зарабатывал немало, больше, чем я в колхозе. Да и ты, Расул, говорят, получаешь большие деньги.

— Боюсь, что при всем моем желании я не смогу сделать из тебя поэта.

— Как? Я же племянник Махмуда! В справке все сказано. И сельсовет выдвигает, и парторганизация.

— Будь ты даже сыном Махмуда. Как известно, у самого Махмуда отец был обжигателем древесного угля, а вовсе не поэтом.

— Но где же справедливость? Здесь, в Махачкале, вы, поэты и писатели, делите между собой жирную тушу литературы, неужели мне не достанется хотя бы немного потрохов? Я согласен на потроха. Что же мне теперь делать? Помоги мне устроиться куда-нибудь. Справки у меня в порядке.

Как племяннику Махмуда мы выдали ему из Литфонда небольшое денежное пособие, а затем по моей просьбе его взял на работу директор завода Дагэлектромаш.

Но, как оказалось, претендент в популярные поэты остался недоволен своей судьбой. Вскоре его отец, наш кунак, прислал мне рассерженное письмо:

«Все мои просьбы твой отец Гамзат всегда выполнял. Никогда он мне ни в чем не отказывал. А ты, сын Гамзата, отказался выполнить такую маленькую просьбу — устроить моего сына в поэты. Видно, зазнался ты, Расул, не в отца пошел. Никогда я не менял своих кунаков, а теперь вот приходится. Прощай».

Таким-то вот образом из-за таланта, вернее, из-за отсутствия его, я потерял хорошего кунака. Кунак мой и правда был хорошим человеком, он только не понимал, что никто — ни председатель Союза писателей, ни секретарь парторганизации, ни глава правительства — не может раздавать таланты, как куски баранины, когда горцы усядутся вокруг стола, а курящаяся горячим паром баранья туша уже взгромождена на стол.

Или видишь, когда идешь по дорогам Дагестана, как в гору поднимается нагруженная арба. Один человек помогает тянуть ее вверх, другой толкает сзади;

или видишь, как большой грузовик тросом вытягивает из снежного заноса маленького «москвича»;

или видишь, как быстроходной легковой машине не дает ехать вперед тихоходный громоздкий самосвал — горная дорога узка, и никак легковой машине не обогнать тихохода.

И вот — талант не арба, которую можно толкать или тянуть вдвоем; талант не «москвич», который нужно вытаскивать тросом; талант не машина, которая не может обогнать и вырваться вперед.

Талант не нужно подталкивать сзади и не нужно тянуть за руку. Он сам находит себе дорогу и сам оказывается впереди всех.

А ведь много еще людей, которые надеются, что их либо подтолкнут, либо подтянут. Вот маленькая история, которую можно было бы назвать так:

ПУСТЬ БУДЕТ СТАРАЯ, НО ТАЛАНТЛИВАЯ. Когда я учился в Литературном институте в Москве, я подружился со многими русскими поэтами, тоже студентами института. Они начали переводить мои стихи. Переводы стали появляться в разных газетах и журналах. Благодаря русским переводам мои стихи прочитали другие народности Дагестана.

В те годы нашлись досужие языки, которые злословили: мол, Расул Гамзатов вовсе не умеет писать стихи по-аварски, его стараются вывести в люди талантливые русские переводчики и что он сразу пишет так, чтобы приспособиться ко вкусам русских читателей.

В связи с этим я вспоминаю каждый раз об одном дагестанском поэте.

Существует небольшая народность — таты. Их всего не больше пятнадцати тысяч. Однако есть пять-шесть хороших татских писателей, известных всему Дагестану. Их книги издаются и на родном языке в Махачкале, и в переводах на русский. Об одном татском поэте я хочу рассказать. Настоящее имя его называть необязательно.

Моя учеба в Литературном институте окончилась, и я вернулся в родную Махачкалу. В первые же дни меня пригласил в гости татский поэт. Он угощал меня на открытом воздухе. Перед нами — широкий Каспий, сзади нас — высокие горы. Поэт читал мне стихи по-татски, а потом слово за словом переводил на русский язык, чтобы я уразумел смысл его стихотворений.

Учитывая то, что я гость, а он хозяин; учитывая то, что он может подумать, будто я хочу блеснуть своими знаниями, приобретенными в Москве; учитывая то, что все поэты больше любят похвалу, чем критику; учитывая то, что никакая критика ему все равно не поможет; и учитывая, наконец, то, что он сам до небес превозносил каждое мое стихотворение и каждую мою строчку, — учитывая все это, я безбожно хвалил все, что он мне читал.

Правда, некоторые стихи мне нравились, и я говорил о них от души, но другие мне не нравились, и я говорил о них, кривя душой. Тотчас я мысленно протягивал руки к волнам Кас-

пия, даже становился перед ними на колени и говорил: «Простите мне эту ложь». Потом я мысленно поворачивался к горам, протягивал руки к их белым вершинам, становился перед ними на колени и говорил: «Простите мне эту ложь».

Начитавшись друг другу стихотворений и нахвалив друг друга, мы некоторое время молчали. Я просто слушал море, а друг, как оказалось, был занят своими мыслями. Наконец он завел такой разговор:

— Расул, мне хотелось бы поделиться с тобой одной важной мыслью. Но обещай, что никому не расскажешь.

Я обещал.

— Ты знаешь, — продолжал мой друг, — мы, таты, народность малочисленная. Мне со своими стихами тесно. Ты правильно делаешь, что ищешь читателей в Москве. Я хочу последовать твоему примеру, хочу переехать жить в Москву. Но у меня ведь нет там ни родных, ни друзей, ни знакомых. Нет и крова. Как думаешь, если я с гонораром, полученным за новую книгу, поеду в Москву, найду я там подходящее пристанище?

— Почему же не найдешь? Если будут деньги, снимешь комнату.

— Я не про то. Найду ли я там себе жену? Пусть она будет старой, уродливой, какой угодно, лишь бы она была талантлива, лишь бы она переводила меня на русский язык, лишь бы она вывела меня в люди. Потом-то уж, встав на ноги, я нашел бы свою дорогу. А без этого я засохну в национальной скорлупе.

Я еще раз присмотрелся к его внешности. Двадцатипятилетний, мускулистый, напоенный огнем кавказец. Большие руки и даже пальцы поросли волосами. Волосы на груди жесткие, как гвозди, забитые в стену. На смуглом, почти коричневом лице толстые губы и синие, как озера, глаза. Его голову можно принять за ежа. Зубы белые, крупные. Ноги как сваи. Бугры мышц по всему телу. Первозданное дитя природы. Ему ли не найти жены в многомиллионном городе. Я сказал:

— Тебе стоит только остановиться посреди улицы и свистнуть, как прибегут жены, каких ты только захочешь.

Мой друг обрадовался, как ребенок. Он встал на руки и на руках пошел в воду, в море. Перед тем как уплыть, он еще спросил:

— Как ты советуешь добираться до Москвы — самолетом или поездом?

Прошло полгода. Отряхивая мокрый снег с шапки, я поднимался на четвертый этаж в издательство «Молодая гвардия». Мне навстречу с большим портфелем под мышкой спускался татский поэт, угощавший меня на берегу Каспия. В первую очередь я обратил внимание на то, что портфель он нес не за ручку, как носят обыкновенные писатели, а под мышкой, как носят бухгалтеры и кассиры. Еще я заметил, что он сильно изменился за эти полгода. Волосы, похожие на ежа, отросли и теперь разделены аккуратным пробором. На щеках бакенбарды, словно у декабриста. Ноготь мизинца длинен и отточен, торчит, как штык. На пальце перстень с камнем. Вместо галстука к воротнику прикреплено нечто вроде крыльев майского жука. Изящен, галантен. После взаимных приветствий он поправил на мне галстук, очевидно сбившийся на сторону. Я, разумеется, поблагодарил.

Ахмет представил мне свою жену, а меня ей.

— Очень приятно, — сказала она и протянула мне три пальца.

У нас в Дагестане не принято целовать руку женщине, поэтому я попросту ограничился легким рукопожатием, но она так на меня закричала от боли, точно я перемешал все косточки ее пальцев.

— Простите меня, темного горца... я не хотел...

— Пора привыкать к культуре, — бросила мне она и подошла к зеркалу, как будто зеркало что-нибудь могло изменить в ее внешности.

Да, она была и стара и уродлива, а пудры на ней было столько, что хватило бы на штукатурку комнаты средней величины. Больше всего я жалел, что не было здесь Абуталиба, уж он бы, верно, сказал про нее меткое словечко.

Говорят, нет никого хитрее лисы и ее хвоста. Но как же могла опростоволоситься черно-бурая, если угодила на воротник этой дамочке. Женщина отошла к журнальному киоску, и мы с Ахметом на некоторое время остались одни.

— Как живешь, как себя чувствуешь, друг Ахмет?

— О, я чувствую себя, как вол, которого запрягли, чтобы молотить чечевицу. Жена руководит мной в моей работе. Если б ты знал, какая она образованная. Светлая голова. Лично знала Блока и Маяковского. Была другом Сергея Есенина. Бывала в Париже. Превосходно говорит по-английски. У нас четырехкомнатная квартира, и мы одни. Детей у нас нет. Есть только собачка Тарзан. Японская собачка, меньше кошки.

— Да, как видно, повезло тебе в жизни. Куда же теперь идешь?

— Да вот приносил стихи в «Мурзилку». Говорят, слишком глубоки для детей. Думал отдать в журнал для юных колхозников. Там стихи понравились, только нужно дописать

строфу, чтобы упоминалось слово «колхоз». Сегодня вечером допишу, а завтра принесу снова... Да, Расул, вот, оказывается, как нужно работать и жить. Моя жена говорит мне: дети, прежде чем научатся ходить, тоже ползают. Потом я напишу и настоящие произведения.

— Алеша, — нежно и требовательно сказала подошедшая жена. — Пойдем накормим Тарзана, а потом сходим еще в «Крокодил» и в «Работницу».

После этой встречи мы с Ахметом долго не виделись. Однажды я получил от него письмо. Он просил меня заказать в Балхарах кувшин с надписью «Моей дорогой жене». Я заказал кувшин и подумал: «Должно быть, и правда она для него много делает». Его стихи в переводах жены мелькали иногда то в «Мурзилке», то в «Пионере», то в «Крокодиле». Не появлялось его стихов только у нас в Махачкале на родном ему татском языке. Несколько раз мы просили его прислать что-нибудь, но не получали ответа.

Увиделись мы спустя пятнадцать лет после первой встречи. В Москве проходила Декада дагестанского искусства. Сорок поэтов приехали из Дагестана в Москву. На разных языках мы читали свои стихи в Колонном зале, в Кремлевском театре, на автомобильном заводе, в гвардейской Кантемировской дивизии.

На заключительном вечере декады к нам за кулисы пробрался сторонкой наш Ахмет.

— Расул, — взмолился он, — возьми меня из Москвы в Дагестан. Хотел я отрастить курдюк, но потерял и последний хвост.

Итак, Ахмет возвратился в Дагестан. Но никак не настраивается его пандур, никак он не может взять верную ноту. Он похож на сосуд, который дал трещину, и вот вытекло все вино. Как ни заклеивай потом кувшин, а вино все равно сочится, утекает.

Итак, переводчик не может прибавить таланта тому, у кого его нет. Одни говорят, что Эффенди Капиев создал Сулеймана Стальского. А другие говорят, что Сулейман создал Эффенди Капиева. На самом же деле они были оба талантливы. Талант Эффенди создал Эффенди, а талант Сулеймана создал Сулеймана.

Я СКАЖУ ИЗЕ. Так можно было бы озаглавить следующую историю, вспоминающуюся мне.

В Аварском педагогическом институте со мной вместе учился известный ныне дагестанский писатель Магомед Сулиманов. Он с детства был разносторонне талантливым человеком: неплохо рисовал, танцевал народные танцы, сочинял стихи. Он страстно любил «Евгения Онегина». С этой книгой он не расставался и знал ее почти всю наизусть. Уже тогда у него была мечта перевести «Евгения Онегина» на аварский язык. Эту книгу он даже брал с собой на войну.

В конце войны, изрешеченный пулями и осколками, Магомед очутился в московском госпитале. Там он познакомился с молодой москвичкой Валей. Когда раны зажили, он женился на Вале и остался в Москве.

Приехав в Москву учиться, я через адресный стол нашел своего друга. Я соскучился по нему, он по мне, Валя не мешала нашей дружеской пылкой беседе. Мы долго сидели втроем за бутылкой крепкого вина. Магомед рассказывал о войне, я о Дагестане, о родных горах, о родном ауле. Я читал им стихи, свои и своих товарищей, молодых аварских поэтов. Потом я спросил у Магомеда, чему же он хочет посвятить свою жизнь.

— Я долго думал, чем бы мне заняться. Но у Вали есть тетя, а у тети есть Изя, очень влиятельный в Москве человек. Тетя увидела, что я мучаюсь раздумьем, и говорит: «Ну что ты мучаешься, Магомед. Я скажу Изе, и он все устроит». Действительно, Изя подобрал мне хорошую должность при Академии наук. Там я сейчас и работаю.

— А твое рисование?

— А, хватит того, что меня разрисовали пули.

— А стихи?

— Это было детство, Расул. Теперь я взрослый серьезный человек, и дело нужно искать себе серьезное.

— А «Евгений Онегин»?

Мой друг задумался. Как видно, я попал в больное место.

— Почему не хочешь возвратиться в Дагестан?

— А как быть с Валей?

— Возьми с собой.

— У меня нет дома, кроме как в ауле. В аул же с Валей я заявиться не могу. Ведь она даже не сможет разговаривать с моей матерью. Не брать же мне еще переводчика, чтобы Валя понимала маму, а мама понимала ее.

Чтобы прервать трудный для Магомеда разговор, я поднял тост за него, за Валю, за «Евгения Онегина».

Когда я в следующий раз зашел к своему другу, Валя сказала мне, что Магомеда словно подменили. Целыми днями и ночами, каждую свободную минуту, за счет еды, сна и отдыха он что-то пишет, рвет, и снова пишет, и снова рвет.

Тетя Вали понаблюдала за Магомедом и наконец спросила, что он пишет и почему рвет написанное.

— Я хочу стать поэтом, — ответил ей Магомед. — Я хочу перевести «Евгения Онегина».

— Так о чем разговор и зачем так мучиться? Я скажу Изе, и он все устроит.

— Нет, дорогая тетя, ни сам Изя, ни его начальник, ни даже его жена не помогут мне сделаться поэтом. Я могу им стать только сам.

Вскоре Магомед прочитал мне перевод первой главы «Евгения Онегина» на аварский язык. А через три года и все аварцы получили возможность читать этот роман на своем родном языке.

ЧЬЮ ФОТОГРАФИЮ ПОМЕЩАТЬ? Говорят, что энергичная жена немало может способствовать успеху мужа. Да, встречали и мы таких энергичных жен. Была такая жена у одного небезызвестного дагестанского поэта. Весь Союз писателей, все издательства и газеты бросало в дрожь при упоминании ее имени. Я тоже ее побаивался и даже, чтобы задобрить ее, повесил у себя в кабинете портрет ее мужа. Я думал, она будет довольна и будет обходиться со мной помягче. Но это на нее мало подействовало. Ведь она не получала ни копейки за то, что портрет ее мужа висел в моем кабинете.

Однажды она потребовала от издательства, чтобы немедленно был издан сборник стихотворений ее мужа. Директор робко возражал, что планы на этот год утверждены, мало бумаги и что они могли бы издать в следующем году...

— Ты бессовестный человек! — кричала разъяренная женщина. — Ты просто боишься, что люди увидят, насколько стихи моего мужа лучше твоих. Вот для чего ты рассказываешь мне сказки о бумаге и планах. О, я тебя вижу насквозь. Я не дам себя провести. Я заставлю тебя издать сборник моего мужа.

С этими словами женщина хлопнула дверью издательства.

Через два часа на директорском столе зазвонил телефон. В трубке послышался голос секретаря обкома.

— Ради бога, сделай как-нибудь так, — умолял секретарь, — чтобы эта женщина больше ко мне не приходила. Я не успеваю менять стекла на своем столе: она разбивает их, стуча кулаком по столу.

Что же получилось в итоге? Выкинули из плана повесть Льва Толстого «Хаджи-Мурат», а также детскую книгу Гамзата Цадаса. За счет этих двух книг поставили в план сборник стихотворений мужа воинственной женщины.

Казалось бы, должен наступить мир. Но вскоре разразился новый скандал. Оказывается, в сборник не поместили фотографии поэта.

— Бессовестные люди! — кричала разгневанная жена. — Вы боитесь, что люди увидят, насколько мой муж красивей вас всех! Вот почему вы не поместили фотографии.

— О нет, — ответил директор издательства. — Просто мы не знали, чью фотографию помещать в этой книге: твою или твоего мужа.

— А что, — ухмыльнулась женщина, — еще неизвестно, стал ли бы он поэтом, если бы не я.

ПРИТЧА ОБ АБУТАЛИБЕ И ХАТИМАТ. Абуталиб сначала пас овец. Потом он полюбил ремесло лудильщика, но свою пастушью свирель носил с собой и в свободные минуты на ней играл. Ремесло водило его из одного аула в другой, и вот однажды, кто говорит — в Кули, кто говорит — в Кумухи, к Абуталибу подошла с худым кувшином девушка по имени Хатимат.

Долго чинил Абуталиб этот кувшин. То он откладывал его в сторону и неторопливо закуривал, то он откладывал его в сторону и начинал играть на свирели, то он откладывал его в сторону и начинал рассказывать Хатимат разные были и небылицы.

Хатимат торопила лудильщика и кричала:

— Хоть бы сворачивал самокрутки покороче!

— Что ты, милая Хатимат, теперь я буду сворачивать их длиной по аршину, чтобы они подольше курились.

Наконец девушка рассердилась вовсе, и Абуталиб вынужден был вернуть ей кувшин. Кувшин весь сиял, как новый: так постарался Абуталиб. Однако не успела девушка набрать в кувшин воды, как он потек. Рассерженная, чуть не плача от обиды, она снова пришла к Абуталибу.

— Сколько времени ты чинил мой кувшин, а он течет сильнее прежнего.

— Чтобы каждый день в твой кувшин кидали камешки смелые, красивые парни! Зачем ты сердишься, Хатимат, я ведь нарочно оставил дырочку, чтобы ты пришла ко мне еще раз и чтобы я мог посмотреть на тебя.

— Пусть парни кидают камни в твою голову, а не в мой кувшин! — выпалила Хатимат и ушла навсегда.

Абуталиб сильно тосковал. Любовь его к Хатимат разгоралась все сильнее. И чем сильнее разгоралась она, тем крепче становилась тоска. Тоскующий Абуталиб написал песню, в которой воспевал Хатимат и свою любовь к ней. Потом он написал вторую песню, потом десятую, потом двадцатую, а потом он из лудильщика превратился в знаменитого поэта.

Хатимат тем временем вышла замуж за человека по имени Гаджи. А потом развелась

с ним и вышла замуж за человека по имени Муса.

Однажды, когда знаменитый поэт Абуталиб шел через базар, его окликнули:

— Эй, Абуталиб, не починишь ли кувшин?

Поэт оглянулся и видит Хатимат, старую, сгорбленную, больную.

— Наверно, ты зазнался, Абуталиб. Еще бы! И депутат, и ордеи на груди. Видно, забыл ты свою лудильную мастерскую. А ведь если разобраться, то я, Абуталиб, сделала тебя поэтом. Не принеси я тогда чинить кувшин, так бы и сидел ты до сих пор лудильщиком на базаре.

— Если на самом деле столь велика твоя власть, о Хатимат, если на самом деле ты умеешь делать из людей поэтов, то почему же ты не сделала поэтом своего первого мужа — Гаджи? Да и песен твоего второго мужа Мусы пока не слышно...

Абуталиб уже ушел, а Хатимат все еще стояла с открытым ртом, не зная, что ответить. Накрапывающий дождь привел ее в чувство.

Итак, никто не властен сделать человека поэтом, если он сам не станет им.

МОЙ ОТЕЦ РАССКАЗАЛ, что когда я написал первые свои стихи, то один человек, очень известный и уважаемый в Дагестане, старый друг отца, говорил:

— Было бы хорошо, если б Расул теперь сильно влюбился. Не важно, счастливая или несчастная, ответная или безответная была бы эта любовь. Пожалуй, даже лучше, если бы он влюбился без взаимности, если б любовь принесла ему одни страдания. Вот тогда бы он сразу стал большим поэтом.

Друг моего отца даже подыскал девушку, юную и прекрасную, которая могла бы сделать меня несчастным человеком, но зато поэтом.

Отец ответил своему другу:

— Посмотри, сколько на свете влюбленных, но разве каждый из них поэт? Красиво любить тоже нужен талант. Может быть, любви талант нужен больше, чем любовь таланту. Слов нет, любовь сопутствует таланту, но не заменяет его. То же самое скажу о чувстве, противоположном любви, — о ненависти.

— Но возьми Махмуда, певца любви...

— Правильно. Таким поэтом, каким мы его знаем, Махмуд во многом стал благодаря своей возлюбленной. Но только я думаю, что если бы этой возлюбленной вовсе не было на свете, все равно бы Махмуд стал большим поэтом. Его беспокойные, мятежные силы все равно нашли бы себе дорогу, как в сырой, тяжелой, темной земле находит дорогу к солнцу нежный росток травы. Ведь иногда трава пробивается даже из-под камня.

Да, легко согласиться с тем, что, подобно тому как огонь питается сухими дровами, талант питается сильными человеческими чувствами — любовью и ненавистью, что стихотворение рождается от светлой улыбки или соленой слезы. Но я хочу привести вам два примера.

Какое горе, какие страдания могут сравниться с горем матери, потерявшей сына? И вот его хоронят, и вот собрался народ. Но мать безмолвна, она просто плачет, она не способна выразить свое горе в словах, в таких словах, чтобы все заплакали, как плачет она сама.

Тогда приходят умелые плакальщицы. Слез нет у них на глазах, ибо тут не их, а чужое горе. Однако когда они пускают в ход свое ужасное искусство, все вокруг начинают рыдать.

Я называю это искусство ужасным. Оно и на самом деле ужасное, жестокое. Не зря мусульманская религия утверждает, что плакальщицам на том свете уготованы вечные муки — наравне с лицемерами, притворщиками, клеветниками. Но с искусством, которое заставляет плакать людей, ничего не поделаешь.

Теперь противоположный пример. Кто может быть счастливей отца и матери, у которых сын вырос, окреп, стал мужчиной и теперь женится? Свадьба — радостный праздник. На свадьбах танцуют и поют песни. И, конечно, больше всех радуются отец и мать жениха. Но каждый ли из них может выразить свою радость словами, песней, такой песней, чтобы возликовали все вокруг и чтобы для всех эта чужая радость свадьбы стала как бы своей?

Нет, родители заранее идут по аулам и приглашают умелых певцов. Певцы приходят. Вчера они пели на другой свадьбе, завтра споют на третьей. Им все равно. Но их талант воодушевляет людей и приносит людям настоящую радость.

Тогда, может быть, талант питается кропотливым опытом жизни? И всякое проявление таланта в искусстве есть результат обширных познаний, сложных судеб, великих дел?

Но если бы это было так, то разве мог бы четырнадцатилетний и к тому же слепой аварский паренек своей игрой на пандуре удивлять и очаровывать аварские аулы?

Другой юноша, Магомет Раджабов, с детства прикованный к постели, написал такую песню о матери, что нет в Аварии человека, который не знал бы и не пел эту песню. Музыку для этой песни сочинил Ахмед Цурми-

лов, человек, у которого парализованы обе ноги. О нем я однажды написал стихи:

> Восемь струн у твоей мандолины,
> Восемь тысяч мелодий у них...

Талантливый слепой увидит больше, чем бездарный зрячий. Кем-то было сказано еще: умный, сидя в своем кабинете, увидит больше, чем дурак, совершивший кругосветное путешествие.

К тому же слепой Магомет, собиравший милостыню на базаре, никогда не ошибался, считая свою дневную выручку.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Если сила таланта в одном зрении, то как же пел лезгинский поэт Кочхурский, которому хан выколол оба глаза? Если сила таланта в богатстве, то как же прославился лезгинский поэт Етим Эмин, бедняга и сирота? Если сила таланта в образовании, то как же Сулейман Стальский сделался «Гомером XX века», не умея даже расписаться, — вместо своей подписи он прикладывал палец, макнув его предварительно в чернила? Если сила таланта в начитанности и эрудиции, то почему же я встречал столько начитанных, очень эрудированных людей, которые не могли написать ни одной путной строчки?

Раньше в горах было принято устраивать интересные состязания. С одной стороны выступали образованные, умеющие читать и писать по-аварски муталимы, а с другой стороны — неграмотные, ничего не знающие, кроме своего ремесла, чабаны. Обе стороны вступали в поэтические состязания. Чаще всего побеждали чабаны. Расчетливый голос образованных певцов заглушали и побеждали песни, свободные, как ветер, летающий над зелеными склонами гор.

Но все-таки тех и других побеждали поэты, которые были одновременно и муталимами и чабанами. Если в состязании участвовали Махмуд или мой отец Гамзат, то им приходилось соревноваться между собой, а не с другими певцами. Другие оставались далеко позади.

Может быть, сила таланта просто в уме? Но я встречал и в Москве, и в других странах очень умных людей. Если бы их ум воплотился вдруг в стихотворную форму или в форму романа и рассказа, это были бы бесценные произведения искусства. Но что-то мешает перейти их умным мыслям с кончика пера на бумагу, и умные мысли развеиваются по воздуху или уходят в могилу вместе с их обладателями.

В таком случае, может быть, сила таланта в упорном труде, в работе до седьмого пота? Очень часто я слышал, что талант сам по себе вовсе не существует, что он может проявиться только в результате упорного труда. Но представьте, что песня соловья, просто сидящего на ветке, мне нравится больше, чем песня осла, влекущего тяжелую ношу.

Не тот песни поет, кто арбу тянет, а тот песни поет, кто на арбе сидит.

Аллах великий, сколько же в мире противоречий! Если песни есть плод праздности человека, сидящего на арбе, то, может быть, все искусство есть результат праздности и досуга, материальной обеспеченности и беззаботности?

Но разве не поют в богатых дворцах песен, родившихся в убогих хижинах? Все сказки о ханах и богачах сочинены бедняками. Шамхал сослал в Сибирь Ирчи Казака. Сосланный в Сибирь, Ирчи Казак продолжал писать стихи. Из стихов Ирчи Казака люди знают теперь о кумыкском шамхале.

Молодого грузинского князя Давида Гурамишвили похитили горцы. Они посадили его в яму в Унцукуле. Сидя в сырой яме и тоскуя по своей голубой и жемчужной Грузии, князь начал сочинять стихи.

Дочь хунзахского хана Айшат влюбилась в молодого красивого чабана. Отец, узнав об этом, выгнал дочку за порог дома. Была зимняя холодная ночь. В стужу, по колено в снегу, под пронзительным ветром, в легком платье, сочинила Айшат свою первую песню.

Но если так, то, может быть, вся сила таланта в человеческой слабости, в бедности? Может быть, несчастья и горе рождают лучшие песни? Кто вы, стихи, и что вам нужно? Вы пришли к Батыраю, когда он, больной, старый, голодный, сидел у погасшего и остывающего очага. Вы пришли к Махмуду, когда он мерз в карпатских окопах, а его возлюбленная, та, что была ему дороже солнца, земли и жизни, вышла замуж за другого. Вы пришли к Абуталибу, когда с палкой и хурджуном он пошел побираться по деревням и когда любимая им Хатимат отвергла его, выйдя замуж за другого. Вы пришли к Эльдарилаву тогда, когда он принял чашу с ядом из рук своих убийц. Жестокий Зунти-наиб зашил нитками рот Анхил-Марин, и тогда-то Марин спела лучшую свою песню. Эта песня лишила наиба покоя и сна на всю остальную жизнь.

В чем же сила твоя, талант, расскажи мне. Кто ты — совесть, честь, мужество или, может быть, страх? Ведь боязливый человек тоже поет, отправляясь в ночную дорогу и тем самым ободряя себя.

Ты счастье или беда, ты награда или наказанье? Ты красота, созданная, чтобы люди

мучались из-за нее, или муки, в которых рождается красота? Или ты дитя времени событий? Искры рождаются от ударов камня о камень. Война не прибавляет людей на земле, но она прибавляет на земле героев.

Я не знаю, что такое талант, как не могу сказать, что такое поэзия. Но иногда — то на пути к дому, то в чужой стороне, то во время сна (как бы приподняв полу моей бурки), то когда я ступаю по зеленой траве (как бы переливаясь в меня из живой зелени и разливаясь в крови), то во время еды, то во время музыки, то в кругу семьи, то в кругу шумных друзей, то когда я поднимаю на руки ребенка, как бы благословляя его на долгий путь, то когда я подпираю плечом, помогая нести, гроб с останками друга, провожая его в последний путь, то когда я смотрю в лицо своей любимой — вдруг меня посещает нечто редкое, удивительное, загадочное и могучее. Оно бывает то веселое, то печальное, но всегда побуждает к действию, всегда заставляет меня говорить. Оно приходит без приглашения и без спроса.

Оно приходит, и за ним мерещатся и Махмуд в черкеске, с пандуром в руках, с его любовной страстью, так и не выплаканной до конца в его песнях, и мой отец с нежной грустной улыбкой, и Эльдарилав с чашей яда в руках, и Марин с окрашенными кровью губами, зашитыми жестоким наибом; за ним мерещатся далекие образы великанов — Данте, Толстого, Шиллера, Блока, Гёте, Бальзака, Достоевского... Иногда мне кажется, что брезжит сквозь пронизанный светлым лучом туман образ самого бога.

— Что ты такое? — спрашиваю я у этого нечто.

— Я твой талант, я твоя поэзия.

— Откуда ты?

— Я есть повсюду.

— Тебе столько же лет, сколько мне?

— О нет, мне одна секунда и мне тысяча веков. Во мне наивность ребенка, страсть безумного юноши, мудрость старца. У меня нет возраста. Я костер, который не может погаснуть. Я песня, которую никто не может спеть до конца. Я полет, который никто не в силах завершить. Я очень далеко от тебя, и я в тебе самом. Носить меня — радость и наслаждение, и носить меня — горькие муки. Нет ничего легче меня и нет ничего тяжелее меня.

Если я есть, то от дрожания скрипичных струн могут расколоться холодные скалы. Если я есть, то от игры на зурне будут плясать дикие туры в ущельях гор. Если я есть, то кинжал выпадает из руки убийцы, а влюбленные сливаются в поцелуе.

Когда снимали чохто с Пати из аула Анди, я был там. Когда похищали Мариам, перекинув ее через седло скакуна, я был там. Когда Жанна д'Арк обнажала свой меч перед воодушевленным ею войском, я был там. Когда человек, придумав себе крылья, прыгнул с колокольни, я был там. Когда Магеллан или Колумб поднимали паруса, я был там. Когда писалась «Сикстинская мадонна», я был там.

Поле моей деятельности — все времена и все земли. Мои герои — люди. У людей есть умы и души. На всех материках им свойственны любовь и ненависть, отвага и страх, благородство и хитрость, самоотверженность и ложь, святость и клевета. Умы и души людей — вот поле моей битвы, вот поле моих поражений и побед, вот поле моих свершений.

— Тогда скажи мне правду: на что я гожусь? Не рискую ли я уподобиться снегу, который завтра растает, не пытаюсь ли налить воду в кувшин, на дне которого трещина? Запала ли в мою душу хоть одна искра от твоего неугасающего костра, упала ли на мои губы хоть одна твоя жгучая, огненная, пьянящая капля?

Из моих глаз текут слезы радости и печали. Но есть у меня и еще слезы — они затаились в глубине глаз, как таится пугливая птица, заслышав шаги охотника. Но и эти затаившиеся слезы — одна от любви, другая от горя; одна от беды, другая от счастья. На голове моей волосы двух цветов — черные и седые. И сам я стою одной ногой в молодости, другой в старости. Старость и молодость всегда сражаются меж собой, и поле битвы — моя душа.

Моя любовь — чинара — два ствола.
Один зачах, другой покрыт листвою.
Моя любовь — орлица — два крыла,
Одно взлетает, падает другое.

Болят две раны у меня в груди.
В крови одна, рубцуется другая.
И так всегда: то радость впереди,
То вновь печаль спешит, ее сменяя.

Жизнь человека имеет границы, она коротка, а мечты безграничны. Сам я иду по дороге, а мечта уже дома. Сам я иду к любимой, а мечта уже у нее в объятиях. Сам я живу в этот час, а мечта улетает на много лет вперед. Она летит дальше той черты, где во тьме обрывается жизнь. Она летит в века.

ШАМИЛЮ ЗАГАДАЛИ ЗАГАДКУ. Ему дали в руки веревку с тремя узлами. Два узла на одном конце близко друг от друга, а третий на дальнем конце веревки. Отгадай!

Шамиль расправил веревку, поглядел и сказал:

— Один узел — это я сам. Второй узел — это моя смерть. А тот, третий, дальний, — то место, где живут сейчас мои мечты и мои помыслы, цель, которой я хотел достичь в жизни.

Поле, которое пашут мои мечты, гораздо обширнее того поля, которое я пашу в действительности. Кому же ты должен служить, талант, мне или моим далеко улетевшим от меня мечтам?

Да, ты костер, который не может погаснуть. Ты песня, которую никто не может спеть до конца. Ты полет, который никто не в силах завершить. Но сумею ли я вплести хоть одну мелодию в твою извечную песню — мою, аварскую мелодию? И тогда, может быть, вся песня станет еще богаче.

Сумею ли я зажечь на вершинах Дагестана свет небольшого костра — ответвление твоего негаснмого пламени? Сумею ли я хоть немного, хоть от одной скалы до другой, продлить твой нескончаемый беспрерывный полет?

Мой аул — Цада! А это значит — огонь! Однажды человек из другого аула спросил меня:

— Откуда ты, парень?

— Из Цада.

Собеседник заметил:

— Сначала прочитай свои стихи, тогда я скажу себе, из огня они или из холодной золы.

Сомнения одолевают меня. Не надеваю ли я бурку, когда уже кончилась непогода и солнце вновь показалось из рассеивающихся туч? Не запираю ли я сарай на замок после того, как воры уже угнали быка? Не рассказываю ли я то, что все уже слышали много раз? Не зову ли я в гости людей, которые только что вышли из-за гостеприимного праздничного стола? Нужно ли мне писать мою книгу?

— Если можешь не писать, не пиши.

— Могу ли я не писать? Может ли не стонать больной, когда ему очень больно? Может ли не улыбаться счастливый? Может ли не петь соловей в молчанье лунной ночи? Может ли не расти трава, когда семечко уже лопнуло в сырой и теплой земле? Могут ли не расцвести цветы, когда бутоны уже обогревает весеннее солнце? Могут ли горные ручьи не течь вниз, к морю, когда уже тают ледники и вода кувыркает камни и мчится с грохотом? Может ли костер не гореть, когда ветки высохли и пламя уже охватило их?

Я в детстве еще полюбил костры: ночью у чабанов, на берегу реки, у подножия скал, на вершинах окрестных гор или даже в камнях домашнего очага. Я знаю, что разжечь костер — половина дела, что гораздо труднее его поддерживать и хранить в течение долгой ненастной ночи.

Я чувствую, что в сердце моем есть огонь. Но что мне сделать, как мне себя вести, чтобы мой огонь не зачах; не угас раньше времени, до того, как он успеет кого-нибудь обогреть и кому-нибудь осветить дорогу во тьме? Что я должен делать, чтобы сберечь и укрепить свой талант?

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОТЦА. Один горец пришел к отцу и сказал:

— Я попробовал и убедился, что могу сочинять. Но я не знаю, что нужно, чтобы писать настоящие стихи.

Отец ответил:

— Мало уметь настроить скрипку, нужно уметь на ней играть. Мало иметь поле, нужно уметь его обработать и засеять.

— Что же мне делать, чтобы писать стихи?

— Как это что? Работать.

РАБОТА

Кто думает, работа наша — мед,
Пусть в Кубачи хоть на денек придет.

Надпись на кубачинском изделии

Я — негр своих стихов. Весь божий день
Я спину гну, стирая пот устало.
А им, моим хозяевам, все мало:
И в час ночной меня гонять не лень.

Я — рикша, и оглобли с двух сторон
Мне кожу трут, и бесконечна тряска,
И тяжелее с каждым днем коляска,
В которую навек я запряжен.

Перевел Н. Гребнев.

Этот случай произошел давно, но я его и сейчас помню так же отчетливо и ясно, как будто он произошел вчера. Я даже описал его в своей поэме, но не могу не вспомнить и здесь.

Никому не известным сыном дагестанского поэта Гамзата я покинул аул и уехал сначала в Махачкалу, а затем в Москву. Прошли годы. Я окончил Литературный институт, выпустил десять сборников стихотворений. За один из них получил Сталинскую премию. Сыграл свадьбу. Одним словом, стал поэтом — Расулом Гамзатовым. Тогда-то я надумал вновь посетить свой аул.

Целыми днями я бродил по тем местам, где бегал мальчиком, смотрел на скалы, на пещеры, говорил с людьми, слушал песни ручьев,

молчаливо сидел на кладбище и вновь бродил по полям.

В Америке иа заводе Форда я видел испытательную горку, иа которой проверяют выпущениые автомобили. Для писателя такой проверочной горкой должио быть то место, где он родился.

Женщины возвращались домой с прополки пшеиицы. Усталые и запылеиные, с исколотыми и изрезанными острой травой руками, они присели отдохнуть около дороги. Я подошел к ним.

То ли они заметили меия и начали говорить обо мне, то ли у них шел давний разговор, но я вдруг услышал, как женщина, вытирая пот со лба пучком травы, сказала:

— Если бы меня спросили, чего я хочу больше всего, я сказала бы: беззаботное сердце и легкую долю Расула Гамзатова.

— А что у Расула вместо сердца — кусок сыра, и оно никогда не болит? — вступилась за меня моя родствеииица.

— Может быть, и не кусок сыра, но все же ему ие приходится полоть пшеницу. Колхозиый колокол ие зовет его иа работу и не разрешает идти иа обед. Он не знает, что такое трудодень, как его заработать и сколько на него дают. Пишет себе — трень-брень, трали-вали, деньгир-даигарчу... О чем же ему беспокоиться? О чем может болеть его сердце? Я ие пожелала бы лучшей доли!

Добрая женщина! Как расскажу я ей о своей работе, о беспрерывности и тяжести своего труда?

С грустными думами шел я с поля в аул. На аульском годекане грели холодные камни седовласые старейшины аула. Оии мирно беседовали между собой о земле, о будущем урожае, о горах, о пастбищах, о болезнях и травах, о прошлых днях нашего аула. Я подошел к ним, поздоровался и тоже присел на холодиый камень.

У одного старика оказалась свежая газета, а в ней были мои стихи. Разговор перешел на них. Всаднику нравится, когда люди хвалят его коия. Я тоже надеялся, что земляки сейчас похвалят мое стихотворение. В Москве и в Махачкале я уж стал привыкать к похвалам. Старик, держащий газету, заметил:

— Отец твой Гамзат писал стихи. И ты, сын Гамзата, тоже пишешь стихи. Когда же ты будешь работать? Или ты думаешь и век прожить, не поднимая ничего тяжелее куска хлеба?

— Стихи — это моя работа, — ответил я как можно смиреннее, несколько ошарашенный таким поворотом разговора.

— Если стихи — работа, то что же тогда безделье? Если песни — труд, то что же тогда наслаждеиье и отдых?

— Для тех, кто песни поет, оии действительно иаслажденье, но для тех, кто их сочиняет, оии работа. Работа без сиа и отдыха, без выходных дней и отпусков. Бумага для меня — то же, что для тебя поле. Мои буквы — это мои зерна. Мои стихи — колосья.

— А, все это красивые слова. Поле ие приходит ко мне на крышу сакли. Я должен ходить в поле работать. Песни же сами находят тебя, где бы ты ни был, даже в твоей постели. Каждая твоя песня — это твой гость, который стучится в дом. Значит, каждая песня — это праздник. А наше поле — ежедневная, будничная жизнь.

Так, или примерио так, выражали свои мысли старейшины с нашего годекана.

— Но песия — это и есть моя жизнь.

— Значит, жизнь у тебя — вечный праздник. Песни ведь дело талаита. У кого он есть, тому легко написать хорошую песню. Кто не иаделен им, тому, конечно, приходится трудиться. Только труд в этом случае мало помогает.

— Нет, вы не правы. Тот, у кого мало талаита, смотрит иа искусство как на очень легкое дело. Ои порхает с песни иа песню. Он, как мы говорим, халтурит. Большой же талаит приходит вместе с ответственностью за него, и человек с настоящим талантом смотрит иа свои стихи как на очеиь важное, трудное дело. Не все то, что поется, песия, и не все то, что рассказывается, рассказ.

— Тогда расскажи, как ты работаешь и в чем трудность твоего ремесла?

Вокруг меня сидели старые пахари. Я начал им рассказывать, но вскоре понял, что мне трудно объясиить им самые простые, самые понятные для меня вещи. Я сбился, засмущался и замолчал. Старцы с годекана в тот день взяли надо мной верх. Я не мог объясиить им, почему трудно писать стихи и вообще что это за работа — писать стихи.

С того дня прошло уже много лет. Но я и сейчас, если бы меня спросили, не смог, вероятно, внятно объяснить, в чем состоит моя работа, почему она нелегка и чем она отличается от других работ.

Где мое рабочее место? За столом, конечно, за моим рабочим столом. Но оно и на горной тропе во время прогулки, когда я обдумываю свои стихотворения и слова, звуки приходят ко мне, а я их бракую и отбрасываю в сторону. Оно и в поезде, когда я еду в другую страну, ибо именно в это время может прийти ко мне замысел нового стихотворения. Оно и в самолете, и в трамвае, и иа Красной площади, и на берегу ручья, и в лесу, и в приемной министра. Всюду на земле мое рабочее место, мое поле, где я пашу и жну.

Когда я работаю? В утренние или вечерние часы? Сколько времеии длится мой рабочий

день? Восемь или шесть, или, может быть, двенадцать, или даже больше часов? Но если больше, то почему я не бастую и не веду борьбу за восьмичасовой рабочий день?

Дело в том, что я работаю всегда, пока себя помню. Во время еды и в театре; во время собраний и во время охоты; во время чаепития и на похоронах; во время езды в автомобиле и на свадьбе. Даже во сне ко мне приходят строки, образы, замыслы, а то и почти готовые стихи. Значит, даже во сне продолжается мой рабочий день. Давно бы надо было устроить забастовку!

Как я работаю? Вот на это ответить труднее всего. Иногда мне кажется, что моя работа похожа на все другие. Иногда я вижу, что она своеобразна и ее нельзя сравнивать ни с одной работой, которой заняты люди на земле.

Иногда мне кажется, что все вокруг работают, а я тунеядствую. Иногда мне кажется, что я один работаю, а все остальные бездельничают по сравнению со мной.

Птицам — что! Они всю жизнь поют одну и ту же песню, которой их научили родители. А речке — что! Тысячелетня она журчит одну и ту же мелодию. Я же должен стремиться за короткий срок моей жизни создать песни, которых хватило бы на много-много лет.

Нелегко, наверно, было тому человеку, который впервые вспахал небольшой участок земли. Нелегко было и тому человеку, который сочинил самую первую песню.

Но если тысяча людей уже вспахала землю, то тысяча первому пахать легче. Если же тысяча людей написала стихи, то тысяча первому писать гораздо труднее.

Да, землепашец, в чем-то и моя работа похожа на твою. Поэтому не смотри на меня, пожалуйста, как на бездельника, чья жизнь есть вечное наслаждение и вечный отдых. Длинными бессонными ночами я думаю о своем поле так же, как ты думаешь о своем. Ты выбираешь для сева лучшие семена, я выбираю лучшие слова из всех существующих слов. Из тысячи мне нужно выбрать одно. И у меня есть своя пашня, свои всходы, которые радуют меня, свои плоды труда. У меня есть своя культивация и своя прополка, ибо и на моем поле есть свои сорняки. Трудно отделить, хотя бы и при помощи машины, хорошее зерно от овсюга. Но еще труднее отделить сорные слова от полезных, здоровых, хороших слов.

Ты бережешь свое поле от града, от заморозков, от суховея. Мне нужно создавать такие песни, которые не боялись бы самого страшного их врага — времени, ибо мне хочется создать песни, которые жили бы сотни лет.

У меня тоже есть свои вредители — тля, саранча и грызуны. Они могут разворовать, или совсем уничтожить мой урожай, или сделать его несъедобным, так что люди будут отворачиваться от моих плодов. Но мои грызуны покрупнее и пострашнее твоих мышей и сусликов, и бороться с ними гораздо труднее, а иной раз и вовсе бесполезно бороться.

Горит очаг, над саклей дым кривой,
Но в стенке дома трещина — с иголку,
И ветер с буйволиной головой
Морозит дом, влезая в эту щелку.

Бывает сходное в стихах моих:
За их тепло плачу ценой жестокой,
Но ветер вымораживает стих,
Меж слов неплотных пролезая в строки.

Перевел Н. Гребнев.

Мои плоды я должен потом раздать людям. И в Дагестане и в других землях должны вкусить их, узнать их сладость и горечь, их особенный вкус. А он не должен походить на вкус всех других плодов.

Помню, как в детстве отец учил меня вязать снопы. Когда я, опираясь коленом, изо всех сил тянул за поясок, отец внушал:

— Смотри, Расул, не задуши сноп!

Теперь, когда не получается стихотворение, когда строка вылезает из него, как бы я ее ни заталкивал, я прилагаю усилия, чтобы стихотворение все-таки закончить. Но часто в такие минуты я вспоминаю наставление отца: «Смотри, Расул, не задуши сноп!»

Урожаи на полях в разные годы бывают разные. Один год уродится столько хлеба, что не хватает амбаров и элеваторов, а потом, бывает, три года ничего не растет. Так и у меня — работается не всегда одинаково. Кажется, удобряю, пашу, сею хорошие семена, а собственный хлеб не растет. Приходится обращаться к переводам, покупать зерно в какой-нибудь там Австралии или в Канаде. Никакая химия, ни большая, ни малая, не помогает мне, когда на время ослабевает накал поэзии и стихи не хотят переходить из души на бумагу.

Что ж поделаешь? Если бы каждый поход и каждое начинание кончались удачей, все были бы довольны и радостны. Если бы земля каждый год давала обильный урожай, все на земле были бы сыты. Если бы все написанное на бумаге становилось песней, люди давно уж не разговаривали бы на простом языке, но только пели. Но песню создать очень трудно.

Мне приходилось бывать на винных заводах Дагестана, Грузии, Армении, Болгарии, на пивоваренных заводах в Пльзене. Мне кажется, у поэтов с виноделами много общего. Есть свои тонкости, свои секреты. Стихотворение, как и вино, должно перебродить в душе, должно выдержаться. И содержится в хорошем стихотворении какой-то таинственный, радующий душу

хмель. Этим вино и поэзия очень близки друг другу.

Иногда в какой-нибудь горный аул, где есть магазин, приезжает автомобиль, нагруженный бочками вина. Одну бочку в этот аул, одну бочку в другой — так развозят шоферы вино из Буйнакска по горным аулам.

Завидев такую машину, парни тотчас, на вид неторопливо и не спеша, но на самом деле с нетерпением, идут с разных концов аула к магазину. Они окружают бочку, как овцы окружают кусок соли-лизуна, положенный чабанами.

Вино разливают по кувшинам, все начинают пробовать, и наступает общее разочарование. Слышатся возгласы:

— Разве это вино! Это же вода!

— Простая речная вода!

— Пусть продавцы сами пьют это вино.

— А я при чем, — обороняется продавец. — Вы же видели, что бочку привезли на машине. Сгружали ее при вас. Вы сами помогали ее сгружать, при чем же здесь я? Какое вино мне привезли, таким я и торгую. Не хотите — не покупайте.

Оказывается, заведующий городским складом, прежде чем отправить вино в район, отливает от бочки сколько захочет и доливает чистой воды: «Там, в районе, и такому вину будут рады!» В районном складе, прежде чем отправить вино в аулы, эту операцию повторяют в точности работники районного масштаба: «Для аулов сойдет и такое вино!» По дороге шоферы и грузчики, чтобы согреться от непогоды и чтобы скорее прошли длинные утомительные часы езды, отливают еще несколько литров, возмещая их хрустальной струей из подвернувшегося родничка или ручья, и получается в результате не то вино, испорченное водой, не то вода, испорченная вином.

Так, читая иные стихи, нельзя понять, чего в них больше — поэзии или пустословия. Такие стихи рождаются у ленивых поэтов, у которых не хватает терпения на упорный труд. Но бойкий ручей редко добежит до моря. Ленивый ходок редко достигает Мекки. Когда два всадника вынуждены ехать на одном коне, они поддерживают друг друга. Талант и работа тоже едут на одном коне.

АБУТАЛИБ ГОВОРИЛ. Талант и труд должны соединиться в стихотворении, как кинжал соединяется с ножнами.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Я тогда больше бывал на улице, чем дома. Я учился в школе, однако уже начинал писать стихи. У меня не хватало терпения и на стихи, и на чтение, и на домашние задания. Мне не сиделось за столом. Я вскоре начинал ерзать, потом вставал из-за стола, а потом при возможности выбегал на улицу. Я и теперь не очень-то усидчив и терпелив.

Однажды, усадив меня не то за уроки, не то за стихи, отец на минуту вышел из дому. Не успела закрыться за ним дверь, как я уже вскочил со стула и оказался на крыше сакли. Увидев меня, отец крикнул моей матери:

— Принеси мне веревку, ту, что висит на гвозде.

— Зачем тебе?

— Я хочу привязать Расула к стулу, иначе из него не выйдет никакого толку. — Отец спокойно, основательно прикрутил меня к стулу, тихонько стукнул по лбу и показал на бумагу: — Все, что там, перенеси сюда!

Если бы кто-нибудь нас, писателей, и теперь хотя бы время от времени привязывал около стола!

Голова-то, может быть, и работает, но если работает голова, а руки в это время ничего не делают, это похоже на мельницу, которая крутится вхолостую, вместо того чтобы молоть муку.

ПРИТЧА О ШАНГРЕЕ, ЕГО СЫНЕ И ПЯТИ РУБЛЯХ. Некоторое время тому назад жил в Хунзахе состоятельный и уважаемый всеми человек по имени Шангрей. У него был единственный и потому избалованный, капризный сын. Отцу хотелось, чтобы его сын работал, как и все в ауле, чтобы он вырос настоящим человеком. А сыну не хотелось работать. Родные и друзья отца баловали его. Тот подарит коня, тот черкеску, тот даст денег, а тот кинжал.

Однажды Шангрей тяжело заболел. Лекарства не помогали ему. Вся родня, все друзья, все кунаки окружили больного.

— Что же нам делать, чтобы вылечить тебя?

— Я-то знаю, что меня могло бы поставить на ноги, но вы бессильны исполнить мое желание.

— В чем же оно, мы сделаем все, что можно.

— Если сын принесет мне пять рублей, заработанные своим трудом, и скажет: «Отец, возьми их, они твои», — тогда я поправлюсь.

Через два дня сын пришел и протянул отцу пять рублей:

— Отец, возьми эти деньги, я сплавлял лес по аварскому ущелью Койсу и заработал.

Отец посмотрел на деньги, на сына и бросил бумажку в огонь. Сын не шелохнулся. Он стал бледен, как будто ему дали пощечину.

На самом-то деле пять рублей дал ему дядя, слышавший, что пожелал больной Шангрей, и решивший выручить юношу.

Через несколько дней сын снова пришел и опять протянул отцу деньги:

— Я работал в Гунибе на строительстве иовой дороги и заработал.

Отец поглядел на деньги, на сына, скомкал бумажку и выбросил ее в окно.

Сын ие шелохнулся. Эти деньги ему, оказывается, дал кунак отца из Гоцатли.

В третий раз пришел сын к отцу, в третий раз протянул пятерку. Отец, не глядя иа сына, взял бумажку и разорвал ее на две части. Сын, как ястреб, набросился на обрывки денег, схватил их и начал склеивать. Ои закричал на отца:

— Я ие для того чистил конюшни в Петровске н заработал эти деньги, чтобы ты их рвал, как простую бумагу. У меня на руках мозоли.

— Вот теперь я вижу, что эти деньги заработал ты сам.

Шангрей стал весел, дело пошло на поправку, н вскоре он окончательно выздоровел.

Итак, настоящую цену имеет только то, что заработано своим трудом.

Пожалуй, не так ли и стихи. Если ты сам выстрадал стихотворение, то в нем дороги каждое слово и каждая запятая. Если же ты подобрал мысль на дороге, то из нее не получится драгоценного стихотворения.

Мне случалось видеть иногда:
Златокузнецы — мои соседи —
С помощью казаба без труда
Отличали золото от меди.

Мой читатель — ценностей знаток!
Мне без твоего казаба тяжко
Распознать в хитросплетенье строк,
Где под видом золота — медяшка.

Перевел Н. Гребнев.

Если хочешь, чтобы рыба была вкусна, иди к озеру и сам поймай ее. Орел парит против ветра, рыба плывет против течения. Поэт пишет, идя навстречу сильным чувствам, если даже это ие радость, а страданье. Нечто похожее рассказал мне однажды н Абуталиб.

ПРИТЧА О БАЛХАРСКИХ ГОНЧАРАХ, ОБ ИХ ГОРШКАХ И О НЕГОДНЫХ ПОКУПАТЕЛЯХ. Балхарские гончары, уложив свои изделия в большие корзины, а корзины навьючив на ослов и мулов, отправились в город сбывать товар. По дороге им попались озорные парни из ближнего аула.

— Далеко ли отправились, горшечиики?

— Продавать горшки.

— Какова цена?

— Малеиькие по двугривеииому, большие по пятаку.

— Почему так?

— Потому что малеиькие делать труднее, чем большие.

Озорники купили у балхарцев все их горшки.

— Останетесь довольны нашим товаром, — говорили гончары, прощаясь и поворачивая мулов, чтобы ехать обратно. — Товар наш сделаи на совесть. И до ваших внуков доживут наши горшки.

Поднявшись на гору, горшечники расположились отдохнуть. Они оглядывали с высоты горную дорогу и вдруг заинтересовались, чем это занимаются там вдали парни, скупившие их звонкий и красивый товар. А парни расставили горшки по краю пропасти и, отойдя на двадцать шагов, кидают в горшки камнями. Очевидно, у них шло соревнование, кто больше разобьет. Горшки звонко лопались, а черепки сыпались в пропасть. Все это доставляло парням удовольствие.

Горшечники, как по команде, вскочили на ноги н, обнажив кинжалы, бросились к хулиганам.

— Что вы делаете, иегодные люди! — закричали они. — Мы продали вам лучшие наши горшки, а вы... Где ваша совесть?

— Почему вы сердитесь, — недоуменно спросили парни, — вы продали нам свой товар, мы вам хорошо заплатили, горшки теперь наши, какое вам теперь дело, на что мы их употребили? Хотим — будем бить, хотим — повезем домой, хотим — просто оставим иа дороге.

— Но эти горшки нам не чужие. Много труда мы вложили в глину, прежде чем она стала горшком. Много души мы вложили в нее, чтобы она стала красивым горшком, чтобы ею любовались люди. Мы думали, что наши изделия принесут людям радость, что они украсят чью-нибудь жизнь. Продавая их вам, мы надеялись, что вы нз одиого горшка будете угощать гостя бузой, а в другом будете держать родниковую воду, а в некоторых будут расти прекрасные цветы. Вы же, бесчестные люди, все превратили в черепки, весь наш труд, все наше старанье, все наши мечты вы побили камнями на краю пропасти. Вы кидали камни в наши изделия точно так же, как неразумные дети кндают камни в певчих прекрасных птиц.

Горшечники решнтельно отобрали у парней то, что те ие успели разбить, и возвратились домой.

Обиду горшечников поймет каждый, кто сам труднлся, вкладывал в свой труд душу и любовался результатами своего труда. Так закончил Абуталиб свой рассказ.

Этот рассказ Абуталиба почему-то мие вспомнился и тогда, когда я в далекой Японии смотрел на девушек — искательннц жемчуга. Молодые, сильиые красавицы ныряли глубоко

на дно моря и там, почти уж задыхаясь, успевали положить в сумку, висящую на бедре, несколько раковин. В одной из раковин может оказаться жемчужина. Но нужно перебрать тысячи ракушек, пока наткнешься на эту одну, счастливую, жемчугоносную. Сколько же раз нужно нырнуть, сколько же тысяч раковин нужно перебрать, чтобы получилось настоящее жемчужное ожерелье?

Но разве легче из всех слов, которые употребляют люди в простом разговоре, создать ожерелье-песню?! Все обыкновенные слова, все события, все чувства, весь опыт жизни — это океан, в котором щедро рассыпаны ракушки. Но велик и тяжел труд искателя жемчуга, которому беспрерывно приходится нырять в затаенные глубины океана! Много нужно сноровки, терпения, здоровья и выносливости, стремления. Нужна и удача. Терпение искателей жемчуга, терпение кубачинца, рисующего чернью по серебру, — все это сродни таланту, все это есть и талант и труд одновременно.

Чтоб дольше жить могло стихотворенье,
Учусь, друзья, то весел, то суров, —
Иметь я кубачинское терпенье,
Взыскательность аульских мастеров.

Перевел Я. Козловский.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГОРЕЦ.

Не выдавай дочь замуж, пока она не достигла совершеннолетия!

Не снимай чарыков с ног, пока не подойдешь к самой воде!

Не ставь котел на огонь, чтобы варить дичь, пока дичь еще в лесу и ты ее не убил!

Не тому принадлежит черно-бурая лиса, кто ее увидел, а тому, кто ее добыл!

ВОСПОМИНАНИЕ. Не хотелось бы рассказывать людям одну историю, потому что похвалиться тут нечем. Но так уж и быть, если начал рассказывать все по порядку — слово не выкинешь. Не напрасно говорят в горах: «Если уж зашел в воду до пупка, то полезай весь», «Если уж развязал мешок, то вытряхивай все, что в нем содержится».

Книгу, которую я теперь пишу, я давно бы закончил, если бы не это глупое происшествие, о котором я теперь решил рассказать.

Обычно, если книга уже начата, а мне нужно куда-нибудь ехать, я забираю рукопись с собой. Мои рукописи таким образом совершали со мной длинные путешествия по разным странам. Я беру их в дорогу, конечно, не просто так: всегда ведь выберется в гостинице свободное утро, когда можно посидеть над рукописью, подумать, написать страницу. Вот и эта книга тоже побывала со мной вместе за морями, за океанами, за материками.

Однажды, возвратившись из Брюсселя, я остановился в гостинице «Москва», на восьмом этаже. Раз уж зашла об этом речь, скажу, что гостиница «Москва» для меня не просто гостиница. Это как бы мой второй дом. Я провел в ней едва ли не половину своей жизни, если брать те годы, когда я стал уже писателем и часто по разным делам бывал в столице.

Все администраторы, все дежурные по этажам, все горничные хорошо знают меня, и я знаю их. Что я останавливаюсь всегда в «Москве», известно и моим московским друзьям, среди которых, правда, есть и такие, для которых слова «Расул в Москве» равнозначны счастливому случаю зайти в гости от нечего делать.

Не успеваю я умыться с дороги, как начинаются звонки, стук в дверь, и вскоре в комнате негде сесть или даже повернуться. Ну что ж, хотя номер гостиницы и не сакля, но, по древнему обычаю, мы, горцы, только на третий день спрашиваем имя гостя. А так как все-таки никто не засиживается по три дня, то многие побывавшие у меня в гостях так и остаются безымянными.

Итак, однажды, возвратясь из Брюсселя, я остановился, как всегда, в гостинице «Москва», и, как всегда, в номере у меня было людно. Одни пожаловали поздравить меня с возвращением из-за границы, другие — пожелать мне счастливого пути в Дагестан, третьи — без всякого дела. Одних я позвал сам, другие пришли без приглашения.

Шумно хвалили одних, шумно ругали других. Смеялись и пили. Пели песни и пили. В номере к тому же было так дымно, словно под столом или под кроватью чадил костер из сырых дров.

АБУТАЛИБ ГОВОРИЛ, что его состарили три обстоятельства.

Первое из них: когда все приглашенные собрались и ждут одного, который опаздывает.

Второе из них: когда жена уже поставила на стол обед, а сын, пошедший за водкой, не возвращается.

И, наконец, третье обстоятельство: когда все гости ушли, а один, который целый вечер молчал, вдруг останавливается у порога и начинает говорить, выговариваясь за все предыдущие часы своего молчания, и чувствуется, что речам его не будет конца.

Какая бы усталость ни была, какой бы сон ни тяжелил веки, приходится выслушивать его вздорные речи. Стараешься во всем соглашаться с ним, лишь бы он поскорее закончил и ушел. Но и согласие, оказывается, вдохновляет его на новые и новые излияния.

Один такой гость оказался у меня в иомере в тот вечер, который так ужасио завершился н о котором я теперь хочу рассказать. Этот гость, оставшись, когда все ушлн, пьяно внс у меня иа плече, тыкал окурки во все возможные места комнаты, гаснл их о штору, о спннку стула, о мой чемодан, о бумаги, разложеиные у меня на столе.

Сначала он хвалил меня, н я соглашался с ним. Потом он стал хвалить себя, и я соглашался с инм. Потом ои стал хвалнть свою жену, и я соглашался с иим. В коице коицов он иачал ругать меня и молоть обо мне всякую чепуху, но я н тут соглашался с ним. «Сейчас он начиет ругать себя, потом свою жену», — с ужасом думал я. Но, дойдя до того места, где, по логнке, ему надо было начннать ругать себя, мой гость неожнданно заторопнлся н пошел спать к себе в номер. Правда, чтобы его уход не слншком огорчнл меня, ои пообещал прнйтн завтра.

Иногда говорят: со всех сторон гость краснв, но все-такн самое краснвое у гостя — спина. В этот раз я понял смысл поговоркн. Спнна уходящего гостя показалась мне прекрасиой. «Ну, — с облегчеинем вздохиул я, — все беды этого вечера коичнлись, и теперь можно спокойно выспаться». Я торопливо защелкнул дверь, воровато залез под одеяло и тотчас усиул. Спалось мие спокойио, как спнтся только под теплой буркой, когда на дворе шумит дождь. Мне снилось, что я н правда лежу под буркой около костра, а вокруг сндят чабаны. Они подкладывают в костер дров. Костер дымнт, а дым ест мие глаза и щекочет в носу. Потом я оказался как будто в пекарне, где очень жарко и пахнет почему-то горелым. Потом сон перешел на то, что мы с друзьямн выехалн в воскресенье за город н жарим душнстые шашлыки.

Проснулся я от иестерпимой рези в глазах. Вскочнл, ннчего не внжу. В комиате полно дыму, а у дверей как будто даже горит. Бросившнсь к огню, я увидел, что догорает мой чемодан.

Весь он у меня был в наклейках первоклассных отелей мира. Сколько стран повндалн мы с ним! Сколько таможеи мниовали благополучио! Правда, иикогда в ием ие было инчего такого, ио ведь и бутылка водкн, которую везешь за граиицу друзьям в подарок, либо лишняя пачка сигарет может иногда вызвать неудовольствие таможениого чиновника. Ну, нли там кофточка для жены.

И вот — ни на одной таможне не погорел мой чемодан, а в мирном номере московской гостнницы сгорел.

Я торопливо схватил горящие остатки чемодана, бросил их в ванну и пустил воду. Новые клубы дыма поднялись в воздух. Я уже успел обжечь себе рукн и, кажется, лицо, но нужно было тушнть теперь стул, иа котором раньше стоял чемодан, а также ковер, а также н штору. Я бросился звоиить дежурной по этажу.

— Я горю! — прокрнчал я в трубку. — Приходите меня спасать!

Но дежурная, вндимо, подумала, что Расул не может гореть нначе, кроме как огнем любвн, н что в даином случае я сгораю от любвн к ней. Спокойно, с матернискнми интонациями в голосе она ответнла:

— Полноте, Расул, спите. К утру все пройдет!

О женщнны! Сколько раз я говорнл им в шутку, что я горю, н оин вернлн и приходнли ко мне на помощь. Но когда я еднственный раз в жнзнн попал в иастоящнй огонь, инкто ие поверил мне.

Словно бравый пожарннк, я один на один воевал с огнем. В коице коицов мне удалось, коиечно, потушнть н ковер, и стул, и штору, и начавшнй обугливаться паркет. Да, я одержал победу иад огнем, но прежде чем я это сделал, огонь иаиес мне немалый ущерб.

Должно быть, пьяный гость засунул в чемодаи окурок, с которого все н началось. Сгорели мон рубашки, костюм, сгорели подарки, прнвезеиные мной из Брюсселя. Админиистрация гостнннцы составила акт на ковер, на стул, на штору, и получилась чудовищная сумма. Самому мне прншлось лечь в больиицу. Я позвоинл домой жеие н сказал, что задерживаюсь по важиым делам. Я еще не придумал по какнм и обещал позвоннть еще раз. Вот что наделал однн проклятый окурок.

Но скажу вам, что все это оказалось мелочью по сравненню с главиым монм ущербом. На дие чемодана лежала рукопись, над которой я работал уже два года...

Говорят, что самая большая рыбина та, которая сорвалась; самый богатый тур тот, по которому промахиулся; самая красивая жеищина та, которая ушла от тебя.

Миогне страннцы моей рукописн сгорели! Теперь мие кажется, что это были лучшне страиицы.

Кроме того, сорвавшаяся рыбиια все равио была не моя. Тур, по которому промахнулся, был не мой. И женщина, которая ушла, тоже не моя. Но сгоревшие страиицы были мои. Я их сам придумал, сам пережил и выстрадал. Я провел над ннми немало бессониых иочей и дией в терпеливом труде. Вот отчего я страдал, утратнв свою рукопнсь. Вот отчего я думаю, что это была моя самая лучшая книга.

Я сразу осиротел, как поле, с которого увезли снопы, нли как последний сноп, который забыли увезти с поля.

Каждая буква сгоревших страниц стала представляться мне жемчужиной. Строки сияли в моем воображении, как драгоценное ожерелье.

Я был так потрясен, что два года не мог сесть за восстановление утраченного. А когда успокоился и сел, то понял, что я могу, конечно, написать заново и примерно о том же, но восстановить те прежние страницы — невозможно.

Точно так же, если у мужа и жены умрет любимый ребенок, они со временем народят другого и будут любить его не меньше, но все же это будет другой человечек, а не тот, которого они потеряли.

Говорят, стихи боятся воды. Стихи — это огонь, а творчество поэта — горение. Да, конечно, стихи не должны быть водянистыми. Но пусть их хранит аллах и от такого огня, с которым встретилась моя рукопись в гостиничном номере.

КАК У АБУТАЛИБА ОБОКРАЛИ КВАРТИРУ. Не знаю уж, как получилось, и кто изловчился, и как вышло, что никого не было дома, но однажды у Абуталиба обокрали квартиру. Бросились проверять: нет золотых часов дочери, нет золотого кольца, нет серег и других украшений. Нет шубы, нет платьев, нет туфель, нет денег... Жена Абуталиба едва не упала в обморок, дочь бросилась на тахту и зарыдала. Абуталиб же прошел в другую комнату, уселся на полу и стал играть на зурне.

Жена набросилась на Абуталиба:

— Как ты смеешь: такое несчастье, нужно бежать в милицию и к прокурору...

— Что за беда! Мои стихи на месте. Смотри, все мои бумаги лежат, как лежали. Воры их не тронули. С чего же мне огорчаться!

— Кому нужны твои стихи, написанные к тому же на лакском языке?

— О, ты ничего не знаешь. Есть люди, даже называющиеся поэтами, которые только и делают что воруют чужие стихи. Но мои, слава аллаху, уцелели. Целый год я трудился над ними, и если бы они пропали, для меня было бы большое горе. К тому же уцелела зурна. Так отчего ж на радостях не сыграть на ней?!

И Абуталиб, не обращая больше внимания на вопли жены и дочери, продолжал играть на зурне.

ЭФФЕНДИ КАПИЕВ МНЕ РАССКАЗАЛ. Однажды погожим летним днем Сулейман Стальский лежал на крыше своей сакли и смотрел в небо. Вокруг щебетали птицы, журчали ручьи. Всякий подумал бы, что Сулейман отдыхает. Именно так подумала и жена Сулеймана. Она поднялась на крышу сакли и позвала Сулеймана домой:

— Хинкалы готовы и уже стоят на столе. Пора обедать!

Сулейман не ответил и даже не повернул головы.

Через некоторое время Айна второй раз позвала мужа:

— Хинкалы остывают, скоро их нельзя будет есть!

Сулейман не пошевелился.

Тогда жена принесла обед на крышу, чтобы Сулейман, уж раз ему так хочется, пообедал там. Она подала ему обед, говоря:

— С утра ты ничего не ел. Попробуй, какие вкусные хинкалы я тебе приготовила.

Сулейман рассердился. Он вскочил с места и закричал на свою старательную жену:

— Вечно ты мне мешаешь работать!

— Но ты же лежал и ничего не делал. Я думала...

— Нет, я работаю. И больше мне не мешай.

Оказывается, и правда, в этот день Сулейман сочинил свое новое стихотворение.

Итак, поэт работает, если даже лежит и смотрит в небо.

Писал поэт стихи жене:
«Ты свет мой, и звезда, и зорька,
Когда ты рядом — сладко мне,
Когда тебя не вижу — горько!»

Но вот жена — звезда и свет —
Явилась, встала у порога.
«Опять ты здесь, — вскричал поэт, —
Дай мне работать, ради бога!»

Перевел Н. Гребнев.

ОТЕЦ МНЕ РАССКАЗАЛ. Великий певец любви Махмуд был в гостях у одного почтенного человека. Были и еще гости. До полуночи поэт услаждал всех собравшихся своими песнями. Потом разошлись спать. Махмуду отвели лучшую кунакскую комнату. Хозяин поставил таз и кувшин для омовения, пожелал спокойного сна и ушел.

Утром, боясь, как бы Махмуд не проспал часы утренней молитвы, хозяин робко заглянул в комнату Махмуда. Он увидел, что поэт и не думал ложиться спать. Сидя на корточках на ковре, он писал стихи, бормоча их вслух:

Райский сад не стану славить,
От него меня избавь.
Можешь сад себе оставить,
Мне любимую оставь.

Перевел С. Липкин.

— Махмуд, настал час утренней молитвы, брось стихи и молись!

— Это и есть моя молитва, — отвечал Махмуд.

Итак, поэт работает даже в часы молитвы.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Теперь я сам расскажу об одном аварском поэте. Я не буду называть его имени. Я не хочу, чтобы вы потом указывали на него пальцем и смеялись над ним. Ибо есть над чем посмеяться.

Поэт женился. Сыграли свадьбу. Гости разошлись, оставив новобрачных одних в комнате, специально приготовленной для брачной ночи. Невеста возлегла на брачное ложе в ожидании жениха. Однако жених, вместо того чтобы прийти к своей невесте, сел за стол и начал писать стихи. Всю ночь он писал стихи и к утру закончил длинное стихотворение о любви, о невесте, о брачной ночи.

Должны ли мы сделать вывод: «Итак, поэт работает даже в ночь любви»? Если бы я работал так же, как этот аварский поэт, у меня было бы книг в пятьдесят раз больше, чем сейчас. Но я думаю, что это были бы фальшивые книги.

Кто садится за стол, когда невеста открывает ему свои объятия, кто не откладывает в сторону перо и бумагу в присутствии красавицы, тот, по-моему, просто ханжа. Пусть он напишет в десять и в двадцать раз больше, но не будет искренности в его словах.

Да, необходимо работать! Некий мудрец лег под деревом в ожидании, когда яблоко упадет ему в рот. Яблоко не упало.

Но больше работы и даже, может быть, больше таланта поэту необходима искренность — и перед всеми людьми, и перед самим собой.

ГОВОРЯТ. Храбрец или в седле, или в земле.

ГОВОРЯТ.

— Что самое отвратительное и уродливое на свете?

— Мужчина, дрожащий от страха.

— Что еще уродливее и отвратительнее?

— Мужчина, дрожащий от страха.

ПРАВДА. МУЖЕСТВО

«Мудрец великий должен быть имамом», —
На сходе предлагал седой наиб.
«Храбрец великий должен быть имамом», —
Наибу возражал другой наиб.

Наверно, проще править целым светом,
Чем быть певцом, в чьей власти только стих,
Поскольку надо обладать поэтам,
Помимо этих, сотней свойств других.

Перевел Н. Гребнев.

АВАРЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ. Из века в век правда и кривда идут рядом. Из века в век спорят они между собой, кто из них нужнее, полезней и сильнее. Ложь говорит — я, а правда говорит — я. Нет конца спору.

Однажды они решили идти по миру и спрашивать у людей. Ложь бежала впереди по узким кривым тропинкам, в каждую щель заглянет, в каждой дыре понюхает, в каждый закоулок своротит. Правда шагала с гордо поднятой головой только по прямым, широким дорогам. Ложь беспрерывно хихикала, правда же была задумчива и печальна.

Много обошли они разных дорог, городов, аулов, побывали они у королей, у поэтов, у ханов, у судей, у торговцев, у гадалок, среди простого народа. Где появлялась ложь, там люди чувствовали себя свободней и легче. Они смотрели в глаза друг другу, смеясь, хотя в эту самую минуту обманывали друг друга. И знали, что обманывают друг друга. Но все равно им было беззаботно и легко, и они не стеснялись обманывать друг друга и говорить неправду.

Когда же появлялась правда, то люди мрачнели, они отводили друг от друга взгляды, опускали глаза. Люди хватались за кинжалы (во имя правды), обиженный поднимался на обидчика, покупатель нападал на торговца, простолюдин — на хана, хан — на шаха, муж убивал жену и ее любовника. Лилась кровь.

Поэтому большинство людей говорили лжи:

— Не уходи от нас! Ты нам лучший друг. С тобой нам проще и легче жить! А ты, правда, приносишь нам одно беспокойство. Нужно думать, нужно болеть душой, нужно страдать, нужно бороться. Разве мало погибло из-за тебя молодых бойцов, поэтов, рыцарей?

— Ну что, — говорила ложь правде, — видишь, что я нужнее и полезнее? Сколько домов мы обошли, и везде приветствовали меня, а не тебя.

— Да, много мы обошли обжитых мест. Пойдем теперь на вершины! Пойдем спросим у чистых холодных родников, у цветов, растущих на высокогорных лугах, у снегов, сияющих вечной незапятнанной белизной.

На вершинах живут тысячелетия. Там живут вечные и праведные деяния героев, богатырей, поэтов, мудрецов, святых, их мысли, их песни, их заветы. На вершинах живет то, что бессмертно и не боится уже ничтожной земной суеты.

— Нет, я туда не пойду, — ответила ложь.

— Ты что же, боишься высоты? Но ведь только вороны ютятся в низинах, орлы же парят выше самых высоких гор. Неужели ты считаешь, что вороной быть достойней, чем орлом? Да я знаю, ты просто трусишь. Ты вообще трусишка! Ты споришь за свадебным сто-

лом, где льется вино, но боишься выйти во двор, где звенят не стаканы, а кинжалы.

— Нет, я не боюсь твоих высот. Но мне там нечего делать, потому что там нет людей. Мое царство внизу, где люди. Я безраздельно господствую над ними. Все они — мои подданные. Только некоторые смельчаки отваживаются противостоять мне и становятся на твой путь, на путь правды. Но таких людей — единицы.

— Да, единицы. Но зато этих людей зовут героями. И поэты слагают о них свои лучшие песни.

ПРИТЧА О ЕДИНСТВЕННОМ ПОЭТЕ. Эту притчу мне рассказал Абуталиб. В некоем ханстве жило очень много поэтов. Они бродили по аулам и пели свои песни. Кто из них играл на скрипке, кто на бубне, кто на чонгуре, кто на зурне. Хан любил слушать песни поэтов в свободное от своих дел или от своих жен время.

Однажды он услышал песню, в которой пелось о жестокости хана, о его несправедливости и жадности. Хан разгневался. Он приказал найти поэта, сочинившего крамольную песню, и доставить его в ханский дворец.

Сочинителя песни обнаружить не удалось. Тогда был дан приказ визирям и нукерам переловить всех поэтов. Как гончие псы, бросились стражники хана по аулам, дорогам, горным тропинкам, глухим ущельям. Они поймали всех, кто сочинял и пел, и всех посадили в дворцовую темницу. Утром хан вышел к арестованным поэтам:

— Ну, пусть теперь каждый споет мне одну свою песню.

Все поэты по очереди стали петь песни, восхваляя хана, его светлый ум, его доброе сердце, его красивейших жен, его могущество, его величие, его славу. Они пели о том, что никогда еще на земле не бывало такого великого и справедливого хана.

Хан отпускал одного поэта за другим. Наконец в темнице осталось только три поэта, которые не спели ни одной песни. Этих троих снова заперли на замок, и все думали, что хан забыл о них.

Однако через три месяца хан пришел к узникам:

— Ну, пусть теперь каждый из вас споет мне какую-нибудь свою песню.

Один из троих тотчас запел песню, восхваляющую хана, его светлый ум, доброе сердце, его красивейших жен, его могущество, его величие, его славу. Он пел о том, что никогда еще на земле не бывало такого великого хана.

Певца отпустили на волю. Двоих же, не захотевших петь, повели к костру, заранее приготовленному на площади.

— Сейчас вы будете преданы огню, — сказал хан. — В последний раз говорю, спойте мне какую-нибудь свою песню.

Один из двух не выдержал и запел песню, прославляющую хана, его светлый ум, его доброе сердце, его красивейших жен, его могущество, его величие, его славу. Он пел о том, что никогда еще на земле не было такого великого и справедливого хана.

Освободили и этого певца. Остался только один, последний упрямец, не захотевший петь.

— Привяжите его к столбу и разожгите огонь, — приказал хан.

Вдруг привязанный к столбу поэт запел ту самую песню о жестокости, несправедливости и жадности хана, с которой началась вся эта история.

— Развяжите его скорей, снимите с огня! — закричал хан. — Я не хочу лишаться единственного настоящего поэта в своей стране!

— Конечно, вряд ли где-нибудь есть такие умные, благородные ханы, — заключил Абуталиб свой рассказ, — как, впрочем, немного и таких поэтов.

МОЙ ОТЕЦ РАССКАЗАЛ. Однажды приближенные спросили у великого Шамиля:

— Имам, скажите нам, почему вы запретили сочинять стихи и распевать их?

Шамиль ответил:

— Я хотел, чтобы остались поэтами только настоящие поэты. Ведь настоящие все равно будут сочинять стихи. А лжецы, лицемеры, именующие себя поэтами, конечно, испугаются моего запрета, смалодушничают и замолчат. Тем самым они перестанут обманывать и народ и самих себя.

— Имам, скажите еще, зачем вы бросили в реку стихи Саида Аракайского?

— Настоящие стихи нельзя бросить в реку, они живут в сердцах людей. Если же стихи равноценны той бумаге, на которой они написаны, то туда им и дорога. Вместо сочинения столь легковесных стихов, которые может унести течение реки, Саид Аракайский должен заняться каким-нибудь полезным делом.

РАССКАЗЫВАЮТ. Когда погиб великий поэт Махмуд, отец поэта, убитый горем, взял чемодан с рукописями Махмуда и бросил его в огонь.

— Горите, проклятые бумаги, это из-за вас преждевременно погиб мой сын.

Все бумаги сгорели, но стихи Махмуда остались жить. Не забыто ни одно слово из песен, сочиненных им. Эти песни живут в сердцах людей, над ними не властны ни огонь, ни вода, потому что они правдивы.

МОЙ ОТЕЦ СМЕЯЛСЯ:

над теми, кто, боясь дурного глаза, отправлялся в дорогу ночью, тайком;

над теми, кто набивал хурджун камнями, чтобы люди думали, будто в хурджуне лежит чурек;

над охотниками, которые с охоты приносят домой вместо куропатки ворону.

АБУТАЛИБ МНЕ РАССКАЗАЛ. Жил на свете один бедняк, которому хотелось выглядеть богачом. Каждый день он приходил на годекан довольный, улыбающийся, а его усы блестели от жира, словно он только сейчас ел молодого, нежного барашка. Бедняк хвастался вслух:

— Ух, какого жирного ягненка я зарезал сегодня на обед! Какое у него нежное, сладкое мясо!

— Откуда он берет каждый день по ягненку? — удивлялись жители аула. — Надо проверить.

Ловкие парни забрались на крышу и через широкий дымоход заглянули в саклю. Они увидели, как бедняк вскипятил старую завалявшуюся кость, собрал сверху немного костного жира и этим жиром намазал себе усы. Потом он съел немного тмина — все, что у него было в доме съедобного.

Парни быстро спустились с крыши и зашли в саклю.

— Салям алейкум! Шли-шли и решили зайти в гости к богатому человеку.

— Немного опоздали, только сейчас пообедал жирным барашком. Собрался теперь выйти из дому.

— Ты лучше расскажи, где ты собираешь такой душистый, вкусный тмин?

Бедняк понял, что парни все знают, и повесил голову. С тех пор его усы ни разу не блестели от жира.

ВОСПОМИНАНИЕ. Однажды в детстве отец сильно наказал меня. Побои я давно забыл, но причину побоев до сих пор помню крепко.

Утром я вышел из дому как будто в школу, а на самом деле свернул в переулок, а потом в другой и до школы в этот день не дошел. С уличными мальчишками я до вечера играл в стукалку. Отец дал мне немного денег, чтобы купить книг, на эти-то деньги я и резался, позабыв все на свете. Деньги, конечно, вскоре кончились, я стал думать, где бы достать еще. Когда играешь в азартную игру и когда отдаешь последнюю копейку, кажется, найдись еще пятачок, и все отыграешь, все вернешь, да еще и выиграешь. Мне тоже казалось, что если я раздобуду немного мелочи, то я отыграюсь.

Я стал просить взаймы у мальчишек, с которыми играл. Но никто не захотел мне дать. Ведь есть примета: если во время игры дашь взаймы проигравшемуся игроку, проиграешь и сам.

Тогда я придумал выход. Я стал обходить все дома в ауле. Я говорил, что завтра приезжают пехлеваны и вот мне поручили собирать для них деньги.

Что зарабатывает бродячая голодная собака, бегая от ворот до ворот? Одно из двух — либо кость, либо палку. И мне тоже — одни отказывали, другие давали. Вероятно, давали мне из уважения к имени моего отца.

Обойдя аул, я подсчитал выручку и понял, что можно продолжать игру. Но и этих несчастных денег не хватило надолго. К тому же во время игры приходилось ползать по земле на коленях. За целый день мои штаны продрались насквозь, а колени исцарапались.

Между тем дома меня хватились. Старшие братья пошли искать меня по всему аулу. Жители аула, которым я наплел насчет приезда пехлеванов, приходили один за другим к нам в дом узнать поподробней насчет их приезда. Одним словом, в то время, когда меня за ухо вели домой, о моих похождениях было известно все.

И вот я предстал перед судом отца. Больше всего на свете я боялся этого суда. Отец оглядел меня с головы до ног. Мои голые, припухшие, красные колени торчали из прорех, как торчат пуховые подушки, когда ими затыкают оконца сакли.

— Что это? — спросил отец как будто спокойно.

— Это колени, — отвечал я, стараясь загородить прорехи руками.

— Колени-то колени, но почему они на виду? Расскажи-ка, где ты порвал штаны.

Я начал разглядывать свои штаны, как будто только сейчас заметил в них изъян. Странная психология лгуна и трусишки: и понимаешь, что взрослые все знают и что бесполезно и смешно отпираться, а все-таки до последнего стараешься увиливать от прямых, правдивых ответов и сочиняешь бог знает что.

В голосе отца стали появляться грозные нотки. Домашние, зная о характере главы семьи, спешили мне на выручку. Но отец жестом отстранил их всех и снова спросил:

— Ну, так как же ты порвал свои штаны?

— В школе... зацепил за гвоздь...

— Как, как, повтори...

— За гвоздь.

— Где?

— В школе.

— Когда?

— Сегодня.

Отец наотмашь ударил меня ладонью по щеке.

— Скажи теперь, как ты порвал свои штаны?

Я молчал. Отец ударил меня второй раз, по другой щеке.

— Скажи теперь.

Я заплакал.

— Замолчи! — приказал отец и потянулся за плетью.

Я перестал плакать. Отец замахнулся.

— Если сейчас же не расскажешь все, как было, ударю плетью.

Я знал, что такое эта плеть с окаменевшим узелком на конце. Страх перед плетью оказался сильнее страха перед правдой, и я рассказал свои злоключения по порядку, начиная с утра.

Суд окончился. Три дня я ходил сам не свой. Жизнь в сакле и в школе шла как будто бы своим чередом. Но душа моя была не на месте. Я чувствовал, что еще предстоит разговаривать с отцом. Больше того, где-то в глубине души я теперь сам желал и даже жаждал этого разговора. Самым мучительным для меня в эти дни было то, что отец не хочет со мной говорить.

На третий день мне сказали, что отец зовет. Он усадил меня рядом, погладил по голове, расспросил, что проходим сейчас в школе, какие у меня отметки. Потом неожиданно спросил:

— Ты знаешь, за что я тебя побил?

— Знаю.

— За что же, по-твоему?

— За то, что играл на деньги.

— Нет, не за это. Кто из нас не играл на деньги в детстве? И я играл, и твои старшие братья играли.

— За то, что порвал штаны.

— Нет, и не за штаны. Кто из нас не рвал в детстве своих штанов или рубашек? Хорошо, что уцелели наши головы. Ты ведь не девчонка, чтобы ходить все время по тропочке.

— За то, что не пошел в школу.

— Конечно, это большая твоя ошибка: с нее начались все твои несчастья в этот день. За это следовало бы тебя поругать, так же, как за штаны и за игру на деньги. Ну, в крайнем случае я накрутил бы тебе уши. Побил же я тебя, мой сын, за твою ложь. Ложь — это не ошибка, не случайность, это черта характера, которая может укорениться. Это страшный сорняк на поле твоей души. Если его вовремя не вырвать с корнем, он заполонит все поле так, что негде будет прорасти доброму семени. На свете нет ничего страшнее лжи. Ее нельзя прогнать и победить. Если ты мне солжешь еще раз, я тебя убью. С этого часа ты будешь говорить только правду. Кривую подкову ты будешь называть кривой подковой, кривую ручку кувшина кривой ручкой кувшина, кривое дерево кривым деревом. Ты понял это?

— Понял.

— Тогда иди.

Я пошел, мысленно дав себе клятву никогда не лгать. Кроме того, я знал, что отец в случае чего сдержит свое слово и убьет меня, как бы он мной ни дорожил.

Много лет спустя я рассказал эту историю своему другу.

— Как? — воскликнул друг. — Ты до сих пор не забыл эту свою маленькую, эту ничтожную ложь?!

Я ответил:

— Ложь есть ложь, а правда есть правда. Они не могут быть ни большими, ни маленькими. Есть жизнь и есть смерть. Когда наступает смерть — нет жизни, и, наоборот, пока теплится жизнь, смерть еще не пришла. Они не могут сосуществовать. Одна исключает другую. Так и ложь с правдой.

Ложь — это позор, грязь, помойка. Правда — это красота, белизна, чистое небо. Ложь — трусость, правда — мужество. Есть либо то, либо это, а середины здесь быть не может.

Теперь, когда мне приходится иногда читать лживые произведения лживых писателей, я вспоминаю отцовскую плеть. Как она была бы нужна! Как был бы нужен строгий, справедливый отец, который мог бы пригрозить в нужную минуту: «Если солжешь — убью».

Да если бы только ложь оставалась безнаказанной! Разве не случалось, что наказывали за правду? Разве мало в истории примеров, когда именно за истину страдали люди, именно за истину поднималась над ними бичующая плеть?!

Мне в детстве понадобилось немало мужества, чтобы от слов лжи перейти к словам правды. Но я почувствовал облегчение.

Еще большее мужество требуется для того, чтобы не отказаться от слов истины. Ибо если откажешься от них, то почувствуешь не облегчение, но самые страшные муки — муки совести.

Мужественные не меняют своих убеждений. Они знают, что Земля вращается. Они знают, что не Солнце кружится вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Они знают, что на смену ночи обязательно приходит утро, а потом и день, на смену дню — опять ночь... На смену зиме идет весна, а потом и красное лето...

И получается так, что в конце концов плеть совести, плеть чести, плеть истины поражает лжецов и лицемеров и никогда в конце концов ложь не победит правды.

ИЗ РАЗГОВОРА НА АУЛЬСКОМ ГОДЕКАНЕ.

— Какое расстояние между правдой и ложью?

— Один вершок.

— Почему?

— Как раз один вершок от уха до глаза. То, что видел своими глазами, — правда. То, что слышал ушами, — ложь.

Так-то так. Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но писатель должен черпать правду отовсюду: из того, что увидел, из того, что услышал, из того, что прочитал, из того, что пережил сам.

Может ли писатель полагаться только на одни глаза? На жизнь он смотрит глазами, но музыку он слушает, историю своей страны он читает. Иные же писатели на первое место ставят даже не глаза и не уши, а нюх.

Писателю нужны сильные, способные ко всякой работе руки, выносливые ноги, крепкие зубы. А для того, чтобы в увиденном, услышанном или прочитанном он всегда мог отделить ложь от правды, золото от дешевых блесток, зерно от мякины, ему нужны еще ум и знания. Без ума и без знаний человек не может доверять и своим глазам.

Темные горцы из аула, которые ни разу не видели золота, но много слышали о нем, нашли тяжелый сундук. Они подумали: «Раз тяжелый, значит, золотой». Начали драться из-за добычи. Перебили друг друга. Сундук же, оказалось, был из меди.

Талант — огонь. Но огонь в руках неразумного может спалить все вокруг. Ум направляет его. Ум седлает даже красоту, как опытный всадник седлает горячего коня.

У горца спросили: что выбираешь — лицо красавца или мудрость старика?

Глупый выбрал лицо красавца, но остался глупым. Невеста ушла от красивенького глупца. Умный выбрал мудрость и благодаря мудрости удержал женщину около себя. Так и в сказке: в седло морского коня посадил красавицу тот, кто выбрал мудрость. В сказках говорится также о трех братьях, о трех дорогах и трех мудрых советах. Кто послушался этих советов, тот возвратился к родному очагу, а кто не послушался, сложил голову на чужбине.

О моя золотая рыбка, дай мне талант, дай мне усердие, дай мне правдивое и горячее сердце юноши и трезвую мудрость старца. Помоги мне выбрать правильную мою дорогу!

Пусть эта дорога будет каменистой, крутой, опасной. Но не хочу извиваться на ней из стороны в сторону, как змея. «Почему змеи кривые?» — спрашивают горцы и сами же отвечают: «Потому что кривы те дырки, те щели, сквозь которые им приходится проползать». Я человек ведь, а не змея. Я люблю высоту, чистоту, я люблю прямые дороги.

Береги меня от болезней и от боязни, от тяжелой славы и от легковесных мыслей!

Береги меня от хмеля, ибо во хмелю человек все хорошее видит во сто раз лучшим!

Береги меня и от трезвости, ибо в трезвости человек все плохое видит во сто раз худшим!

Дай мне такое чувство истины, чтобы я мог называть кривое кривым, а прямое — прямым!

— Все в мире плохо, и порядка нет! —
Сказал поэт и белый свет покинул.
— Прекрасен мир, — сказал другой поэт
И белый свет в расцвете лет покинул.

Расстался третий с временем лихим,
Прослыв великим, смерти не подвластным, —
Все то, что плохо, он назвал плохим,
А что прекрасно, он назвал прекрасным.

Некий горец подвесил корове на уши серьги, чтобы потом отличить свою корову от чужих. Некий горец навешал на шею коня бубенцов, чтобы не спутать его с конями соседей. Но плох тот джигит, который и ночью не узнает любимого коня издали.

Вот моя книга. Не хочу нацеплять на нее серьги, бубенцы, украшения. Я не спутаю ее с другими, своими или чужими, книгами. Пусть и люди не путают. Пусть каждый, кто прочитает ее, если даже будет оторвана обложка, сразу скажет, что эту книгу написал Расул, сын Гамзата, того, что родом из аула Цада.

ГОВОРЯТ. Мужество не спрашивает, высока ли скала.

СОМНЕНИЯ

Книги, книги мои — это линии
Тех дорог, где, и робок и смел,
То шагал, поднимаясь к вершине, я,
То, споткнувшись, в ущелье летел.

Книги, книги — победы кровавые.
Разве знаешь, высоты беря,
Ты себя покрываешь славою
Или кровь проливаешь зря?

Перевел Н. Гребнев.

Многоязык, многокрасочен Дагестан! Много разных обычаев сохраняют его народы. Об одном обычае мне рассказал татский писатель Хизгил Авшалумов.

Если у горцев не рождаются дети, то муж опоясывает себя шерстяным поясом, чтобы аллах заметил его среди других жителей гор. В то же время горец молился:

— О аллах, не обижай своего бедного раба, пошли ему сына!

Такие же пояса надевали и те, у кого рождались одни только дочери, а также те, у кого рождались хилые, слепые, глухие, хромые, кривые, немые, горбатые, слабоумные дети. Нося такой пояс, горец верил, что аллах в следующий раз пошлет ему крепкого, здорового сынишку, из которого вырастет настоящий храбрый джигит.

Вот меня и берут сомнения: не надеть ли и мне чудодейственный пояс, который носят татцы, сомневаясь в полноценности будущего ребенка? Сыном ли, джигитом ли родится моя новая книга, или выйдет из нее нечто кривое, горбатое, глухонемое?

Впрочем, каждой матери свое дитя кажется прекрасным. Они и видят и в то же время не видят его недостатков. Не получилось бы так у меня с моей книгой.

Я боюсь. И дрожит перо. И сомнения одолевают меня. Не целюсь ли я в кошку, приняв ее за орла? Не седлаю ли я ишака, приняв его за иноходца? Не пытаюсь ли я вытянуть бревно в длину, как это захотели сделать однажды ахалчинцы, не сообразившие, что бревно-то нужно было положить не вдоль, а поперек кровли? Не штурмую ли я крепость в Анде, как это казалось одному хариколонцу, в то время как он сидел у своего очага?

Перед окончанием книги чувствуешь себя, как мясник, который свежует барана и дошел уже до хвоста, но сломался нож. Сумею ли дописать до точки? И что из этого выйдет? Пустую раковину несу я на поверхность из морских глубин или обнаружится в раковине полновесная матовая жемчужина?

Ураган может обломать у дерева сучья или переломить самый ствол. Но весной от корней снова пойдут молодые побеги и вырастет новое дерево. Если же в дереве заведется грибок, съедающий его изнутри, если этот грибок съест корни дерева, то ничто ему уже не поможет. Так ведь и у человека: внешняя, наружная рана, даже перелом костей залечивается быстро, в то время как болезнь, развивающаяся в глубине организма, оканчивается неизбежной смертью. Здорóва ли моя книга, надежны ли, крепки ли ее корни?

Книга моя — как подросший сын. Сакля ему тесна. Пора отправлять его в люди, в дорогу, в большой мир. Как встретят его в пути: обругают или обласкают? Накормят и уложат спать или прогонят от порога? Теперь это от меня не зависит.

Поэма окончена. Соткан ковер.
Но хвастать пока погодите:
Расправьте углы, оглядите узор,
Отрежьте торчащие нити.

Поэма дописана. Клин яровой
Запахан, но труд свой вчерашний
Еще огляди и пройди бороздой —
Остались огрехи на пашне.

Перевел Н. Гребнев.

Книга моя — как ковер, который закончен и разостлан, чтобы увидели его впервые весь сразу. Я вижу на нем много неверных линий, сбивчивых рисунков, невнятных узоров, орнамент кое-где нечеток и крив, но исправить эти ошибки уже нельзя — ковер соткан. Чтобы исправить самую малую его деталь, нужно распускать весь ковер.

Книга моя — как возвращение в аул из далекого трудного пути. Два года не было меня дома. Два года ничего не слышали обо мне жители аула, соседи, кунаки, старики и юнцы. И вот я схожу с коня у крайней сакли и неторопливо веду коня в поводу. Огонь, который горянка поставила на окно, чтобы светил мне в пути, можно теперь убрать. Я возвращаюсь домой. Здравствуйте, дорогие земляки! Я возвращаюсь из двухлетнего странствия. Конь постарел за эти два года. У меня тоже прибавилось седины. Я неторопливо веду коня в поводу вдоль улочки аула и всем, кто меня встречает, говорю:

— Асалам алейкум, люди!

— Ваалейкум салам, сын Гамзата Расул! Как проходило странствие твое? Не устал ли? Какова добыча твоя? Что там топорщится в твоих хурджунах?

Мне хотелось бы сказать людям, что я привез им новую книгу. Но книга — такая вещь, что никак ее нельзя передать из рук в руки жителям аула или кому бы то ни было. Сначала она попадает в руки к издателю, и он-то будет решать ее судьбу.

ИЗДАТЕЛЬ, приняв от меня рукопись, взвесил ее на руках, повертел так и сяк, полистал, заглянул сначала на первую страницу, потом сразу на семидесятую, потом в самый конец и отложил рукопись в безопасную сторонку.

— Может быть, книга твоя и хороша, но у нас уже сверстаны и утверждены планы на этот и будущий годы. Твоей книги в наших планах нет.

— У меня у самого ее не было в плане. Она пришла неожиданно. Что же мне теперь с ней делать?

— Подавай творческую заявку. Разберемся, обсудим, утвердим. Поставим в план редподготовки. Приходи или позвони в будущем году в это же время.

ПИСЬМО АБУТАЛИБА В ИЗДАТЕЛЬСТВО.

«Уважаемое издательство Дагестаиа! Я — ваш народный поэт, член Президиума Верховного Совета Дагестана. Персоиальный пенсионер. В этом году мне исполнится восемьдесят пять лет. Я знаю, что, если со мной стрясется беда и я умру, вы примете решеиие — выпустить в свет мой двухтомник. Я прошу вас издать одну мою книгу сейчас, пока я жив, вместо тех двух томов, которые вы собираетесь издавать после моей смерти. С приветом. Абуталиб».

Это заявление — из мирных, из добрых. Но бывают заявления, в которых жалуются. Бывают заявлеийя, в которых проклииают. Бывают заявления, в которых хвастаются. Бывают заявлеиия, в которых льстят. Бывают заявления-вопли и заявления-окрики.

Самые страшные заявления не те, которые пишут издателям, а те, которые пишут на издателей. Издателя же тоже иужно понять. Если на стуле место только для одного человека, то иа него нельзя сесть троим или четверым. Двоим, заияв по половинке, и то иеудобио сидеть, тем более если долго. Один говорит: «Почему вы издаете Ахмета, а меня ие хотите издать? Разве я хуже?» Другой кричит: «Моя книга лучше всех книг, которые вы издали за последние годы. Почему опять не поставили меня в плаи?»

Но я ие хочу ругаться с издателями. Я готов подождать. Я зиаю, что у издателей всегда не хватает бумаги. Куда девалась бумага? Ее портят писатели, и я в том числе. Зачем же я буду ругаться! Правда, иногда вместе с порчей на бумаге создается такое, что переживает потом и писателя и издателя. О, я хотел бы, чтобы на какой-нибудь клочок бумаги попали такие мои слова, от которых бы, как от живой воды, бумага снова превратилась в то зеленое, полнокровное дерево, из которого она была некогда произведена.

Нет, я не хочу ругаться с издателем. Я ему мирно говорю:

— Вы стоите между мной и моими земляками из аула, между мной и моими читателями из Москвы, между мной и моими читателями из других городов. Ведь вы — наш посредиик и связующее звено. Ну, пожалуйста, я прошу вас, содействуйте тому, чтобы мы дотяиулись и чтобы иаши руки встретились в дружеском рукопожатии. Пожалуйста, я прошу...

Издатель уступает моим тихим просьбам, и я тотчас попадаю в руки редактора.

РЕДАКТОР.

«Сокращать» — написаио иа его дверях.

Издатель говорил: «Зайди через год». Редактор иазиачил срок три иедели. Этому сроку я даже обрадовался: успею пока что рассказать вам три малеиькие истории.

КАК РЕДАКТОРА В ОКНО ВЫБРОСИЛИ. Одии аварский поэт принес в редакцию газеты стихи, чтобы опубликовать их в новогоднем номере. Стихи поиравились. Газета их напечатала.

Как раз собрались у счастливого поэта друзья. Поэт торжественно развернул газету и вслух стал читать стихи. Вдруг ои побледнел, схватился левой рукой за сердце, как будто в сердце попала стрела. Газета выпала у него из рук. Друзья бросились, поддержали, дали попить. Когда поэт пришел в себя, выяснилось, что же его сразило. Оказывается, в стихотворении не хватало четырех строк. Поэт побежал в редакцию.

— Кто зарезал четырех лучших моих баранов из тех, что я выпустил пастись иа просторные луга вашей газеты? Кто сократил четыре моих строки?

Редактор газеты спокойно ответил:

— Я выбросил... Ну и что?

— Зачем ты их выбросил?

— Пришел срочный материал, не хватало места.

— Но если ты можешь без разрешеиия поэта выбрасывать из его стихотворения строки, то я тебя самого выброшу сейчас в окно.

У поэта была горячая горская кровь. Он схватил редактора за шиворот, за ноги и действительно выбросил в окно. Дело, правда, было иа втором этаже и под окном была мягкая клумба. На суде поэт говорил:

— Кровь за кровь! Зуб за зуб! Ои отредактировал меия, я отредактировал его!

«Отредактироваиный» редактор, говорят, попрежнему сокращает стихи (без этого, наверное, ие может быть редактора), но все же он спрашивает теперь разрешения поэтов.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Мой отец написал две пьесы: «Сапожник» и «Свадьба Кодолава». Сначала они побывали в театре, потом в отделе культуры, а потом ушли в Управление искусств Дагестана. Отец точно зиал, что они туда ушли и никуда оттуда ие вышли. Но в то же время и там их не оказалось.

Как чабан, несмотря на иочную непогоду, отправляется в горы искать отставших овец, так отец пошел разыскивать свои пьесы.

В управлеиии сидел человек, заиимавшийся только одними пьесами. Ои тоже назывался редактором. Больше часа разговаривал с ним отец и вдруг почувствовал: как только заговорят о погоде, о пастбищах, об овцах, лошадях и коровах, так получается живой разговор, а как только разговор касается литературы, драматургии, так отец ничего ие может поиять. А между тем

редактор все время пытался говорить о драматургии, давал отцу наставления, поучал его, как нужно писать хорошие пьесы. Отец не выдержал и спросил напрямик, кто этот человек, с каким образованием, кем работал до Управления искусств Дагестана.

— Образование у меня высшее, — не без гордости ответил редактор. — А по специальности я ветеринар. Назначен вот теперь на эту работу.

— Но разве мои пьесы коровы, что ты пытаешься их лечить! Почему поэт никогда не дает советов ветеринарам? А поэту дают советы все, кто захочет.

Неужели и моя книга попадет в руки редактора, который в прошлом был ветеринаром и ничего не смыслит в литературе?!

АБУТАЛИБ И РЕДАКТОР. Рукопись Абуталиба редактор исклевал, как ворон тело воина, павшего на поле битвы. В исклеванном виде пришла к Абуталибу корректура. Абуталиб прочитал и удивился:

— Мою зеленую поляну затоптали кони. Там, где были цветы, теперь болота. Если школьник сделает несколько ошибок в диктанте, эти ошибки исправляет учитель. Кто же тот учитель, который знает, что в моей жизни было правильно, а что неправильно?

Абуталиб стал внимательно вчитываться в корректуру и вдруг воскликнул:

— А, я знаю, из какого аула мой редактор! Он хочет исправить мою книгу под диалект своего аула. Но диалектов много, а язык один, а народ один! Если каждый редактор будет тянуть в сторону своего аула, мы никогда не построим аул нашей поэзии.

Мой редактор, помни, что, кроме твоего аула, есть еще на свете земля и есть, кроме тебя, другие люди. В сущности, у нас с тобой не может быть разногласий. Я учту твои замечания, если они пойдут на пользу. Но ты должен помнить, что моя песня мне так же дорога, как дорога была кровнику жажда мщенья. Это я не сейчас придумал. Так начиналось одно мое стихотворение, написанное в молодости.

В своей груди, как месть заветную,
Я нес тепло и холод строк.
Я песню, как любовь запретную,
От взглядов пристальных берег.

Я, слабую, ее выхаживал,
Ловил ее далекий крик,
Я рифмы звонкие прилаживал,
Как шестеренки часовщик.

Из множества одно созвучие
Старался выбрать для строки.
Так в кладовых для гостя лучшие
Мы выбираем бурдюки.

Я ночью отправлялся в странствия
И краски тасовал с утра,
Как женщины табасаранские
Цветную пряжу для ковра.

Могли другие петь умелее,
Я, к сожаленью, не умел.
Не знаю, достигал ли цели я,
Все то сказал ли, что хотел.

Но пусть стихи плохие самые —
Вся жизнь моя в словах моих.
Зачем же вы, редактора мои,
Стараетесь ухудшить их?

С моими отпрысками справиться
Чужим отцам не по плечу.
Скажите, что вам в них не нравится?
Им сам я уши накручу.

Перевел Н. Гребнев.

В то время я написал пьесу «Горянка». Она шла в нескольких театрах Дагестана, и вот что произошло с этой пьесой.

В конце спектакля по ходу дела герой убивает героиню. Мне было жалко мою горянку, моя рука дрожала, когда я писал сцену убийства, и сердце обливалось кровью. Но я ничего не мог изменить. Течение событий само подводило к тому, что горянка должна быть убита. Аварский театр так и поставил спектакль, и хотя зрители печалились и жалели героиню больше даже, чем я сам, все они понимали, что иначе быть не могло.

В даргинском театре пьесу подредактировали. Вместо того чтобы девушка была убита, ей отрезали косу. Конечно, это очень позорно, когда горянке отрезают косу, может быть, даже это хуже смерти, но все-таки и не смерть.

На сцене кумыкского театра решили не убивать и не резать косы, но ослепить. Конечно, это ужасно. Может быть, это ужаснее, чем убить или отрезать косу, но все-таки горянка оставалась жива и с косой, ибо так захотели в кумыкском театре.

Чеченцы в своем театре поступили всех проще. «Зачем убивать, — решили они, — зачем отрезать косу, зачем ослеплять? Пусть героиня остается жива-здорова».

Так каждый режиссер переделал пьесу по своему образу и подобию. Никто не подсказал им, что, жалея и спасая героиню, они тем самым убивают пьесу и не жалеют зрителей, не говоря уж о драматурге.

ОТЕЦ, когда пришла в наш аул газета, в которой были опубликованы его стихи, сказал:

— Как видно, мое стихотворение побывало в руках телетлинцев. Ни одного живого места не осталось в нем.

МАХМУД... Махмуд ничего не сказал, потому что при жизни не было издано ни одной его книги. Но если бы он увидел, как переделал его стихи такой вот редактор, он бы умер вторично.

По горной тропинке нельзя ехать на современном автомобиле. Как же я могу сказать, чтобы редакторы не трогали меня, если они, случается, трогают даже мертвых?

НО, МОЙ РЕДАКТОР, не принимай все, что я рассказал, на свой счет. Я знаю и редакторов другого сорта, тех, что приходят к писателю как мудрые и тонкие советчики. Я знаю, что и ты такой. Работать с тобой кажется приятным отдыхом и покоем. Будь спокоен, я не оставлю без внимания ни знака восклицательного, поставленного тобой на полях моей рукописи и выражающего твой восторг, ни знака вопросительного, выражающего твое недоумение, ни «птички», выражающей твою волю исправить строку, чтобы книга сделалась лучше.

Наверно, есть в моей книге строчки, которые не укреплены как следует и качаются, подобно больному и старому зубу. Наверно, есть и повторы. Умоляю тебя, найди, заметь, подскажи. Одна голова хорошо, а полторы лучше! У нас же будет, я надеюсь, две равноценных головы, четыре руки, дело у нас пойдет на лад! Лучше драка сегодня, чем ссора завтра. Лучше один раз подраться, чем всю жизнь ссориться. А главное, бойся меня перехвалить.

Один охотник похвалил зайца за то, что тот не испугался и выскочил на открытый бугор. Охотник даже не стал стрелять. Зазнавшийся заяц выскочил на бугор и перед другим охотником. Но у другого охотника был и другой характер. Нетрудно догадаться, что из этого вышло.

Я знаю, что твой труд, в сущности, неблагодарен. Когда читатель берет в руки книгу, он смотрит, кто ее написал, кто нарисовал картинки, но никогда он не смотрит, кто был редактором книги. Так уж устроен человек!

Принято считать, что поэт говорит от имени народа. Но, оказывается, и редактор говорит иногда от его же имени. Однажды я принес в редакцию лирическое стихотворение о своей любимой. Редактор отложил это стихотворение в сторону и сказал, что напечатать его не может.

— Почему?

— Народ это читать не будет. Зачем народу стихи о твоей жене!

Тотчас я сочинил восьмистишие:

В журнале о тебе стихов
Не приняли опять,
Сказал редактор, что народ
Не станет их читать.

Но, между прочим, тех стихов
Не возвратили мне,
Сказал редактор, что возьмет
Их почитать жене.

Перевели Е. Николаевская и И. Снегова.

МОЙ ОТЕЦ ГОВОРИЛ, что писатели и поэты похожи на шоферов, которые умеют ездить и ездят вообще-то правильно, но иногда ошибаются и «нарушают». Редакторы в этом случае похожи на милиционеров. Отец задумывался и говорил:

— Как ты думаешь, трех милиционеров на одного шофера не многовато ли?

Но и совсем без милиционеров тоже нельзя. В одной компании поднимали тосты за каждого человека в отдельности. Был там и милиционер. Тамада провозгласил тост за милиционера. Вдруг председатель потребсоюза отставил рюмку и сказал:

— При коммунизме милиционеров не будет. Это — явление отживающее. Зачем же за него пить?

Милиционер ответил:

— Сохранятся ли при коммунизме милиционеры, зависит от того, сохранится ли там потребсоюз.

Но, кроме шуток, сказать ли тебе, мой редактор, какие мгновения я больше всего люблю? Когда мы сидим с тобой уже не за рабочим столом, среди бумаг, а за обыкновенным столом, который накрыт со знанием дела. Уже позади, тоже, впрочем, приятные, моменты, когда ты пишешь на моей рукописи: «В набор!» А потом — «В печать!». А потом — «В свет!». И книга по мановению твоей руки действительно идет то в набор, то в печать, то в свет. Ведь подумать только, какие слова ты пишешь: В СВЕТ! За одно это прощаются тебе все твои грехи. За одно это стоит поднять бокал. Напиши же скорей эти слова, и я подарю тебе самый первый экземпляр книжки со своим, конечно, автографом.

Конечно, я хотел бы, чтобы скорее наступило такое время, когда исчезнут в мире все тайны. Но разве поэт тот, кто не открывает людям никакой тайны, то есть того, что они до него не знали? Я, поэт, приходя в мир, приоткрываю завесу с пространства и времени точно так же, как жених откидывает покрывало с лица невесты. Один только жених имеет право сделать это на свадьбе, после чего лицо невесты видят все. Только поэт способен сделать это в жизни, и люди познают действительность, и удивляются ей, и удивляются тому, чего не видели раньше: красоте мира или красоте человеческой души, которые противостоят силам зла.

Прошу тебя, редактор, не давай болтунам выбалтывать, чего не следует, но и не закрывай

того, что открою я как поэт. Не ставь под сомнение мои узоры, орнаменты, рисунки! Если даже есть в узоре моего ковра какая-то ошибка, не делай так, чтобы ее замазали чернилами или выстригли, — получится либо клякса, либо дыра.

Кроме того, не называй какую-нибудь мысль неправильной только за то, что она не похожа на твою!

Кроме того, на весах вешают хлеб, сахар, масло, гвозди, но не любовь!

Кроме того, метром меряют ситец, высоту комнаты, ограду на могиле, но не красоту!

Кроме того, тот, кто старается быть самым умным, окажется даже глупее, чем он есть на самом деле!

Кроме того, я тоже взрослый человек, и хотя бы немного, хотя бы кое в чем доверьтесь мне!

Я понимаю, что у одного человека секретов больше, у другого меньше, ибо еще...

АБУТАЛИБ СКАЗАЛ. Если вода протухнет, то не увидишь дна, хотя бы воды было не выше колена.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Когда я был маленьким, меня считали самым болтливым из всей семьи. То, что я услышу на улице, обязательно расскажу дома. То, что я услышу дома, обязательно расскажу на улице.

К отцу время от времени приходил один старик. Он оглядывался по сторонам и важно говорил шепотом:

— Гамзат, нельзя ли на пару слов в другую комнату?

Они уходили в другую комнату и о чем-то шептались. Так случалось несколько раз. Однажды старик пришел снова.

— Гамзат, нельзя ли в другую комнату на пару слов?

— Э, полно! — ответил отец. — То, о чем ты мне шепчешь по секрету, можно рассказывать даже при нашем Расуле. Так что говори вслух и не бойся.

Да, я с детства не любил тайн. Песни поют открыто и громко, поднимаясь на высокое место, чтобы слышало песню как можно больше людей.

Кроме того, не за каждое слово отвечаю я сам. У меня ведь есть еще переводчик.

ПЕРЕВОДЧИК.

Я аварец, таковым родился и другим мне не быть. Первые люди, которых я увидел, открыв глаза, были аварцы. Первые слова, которые я услышал, были аварские. Первая песня, которую мне пропела над колыбелью мать, была аварская песня. Аварский язык сделался моим родным языком. Это самое драгоценное, что у меня есть, да и не только у меня, но у всего аварского народа.

Аварцев немного, всего лишь триста тысяч. Но это и не мало. В Дагестане есть поэты, пишущие стихи на языке, на котором говорят две тысячи человек.

Государственная граница разделяет людей, но еще больше разделяют их языки. Границы, бывает, меняются и даже совсем отменяются или превращаются в чистую формальность. Язык же дан народу на вечные времена, и его невозможно ни заменить, ни отменить.

Трудно представить себе то время, когда аварцы жили без Пушкина, не читали Лермонтова, ничего не слышали о Толстом, не наслаждались чтением Чехова.

ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Великое счастье, что и в горах выросло дерево Пушкина, на котором, сколько его не тряси, не кончаются сладкие, сочные плоды.

АБУТАЛИБ ГОВОРИЛ. Спасибо тем, кто привел ко мне, в полутемный подвал, дорогого Чехова! Спасибо и тем, кто мои песни из подвала вывел к стенам московского Кремля!

А Я ГОВОРЮ. Не склонился Кавказ перед генералом, но склонился перед стихами молодого поручика.

У меня был курьезный случай. Должна была выйти в Дагестане моя книга в переводе на русский язык. Избранные произведения — стихи и поэмы. Редактор полистал рукопись и говорит:

— А почему ты не включил сюда «Полтаву»?

— Но это же не моя поэма, ее написал Пушкин, а я лишь перевел на аварский язык. Как же я могу поэму Пушкина включать в свой сборник на русском языке!

Не будем строги к редактору. Но ведь и правда, что к многим хорошим произведениям, переведенным с другого языка, аварцы привыкли, как к родным, аварским, и уже нельзя представить себе без них нашу аварскую литературу.

Я знаю, что за глаза обо мне иногда говорят: «Ну что же — Расул, он, конечно, способный человек, но не очень. Для него много сделали московские переводчики».

А я и не буду отрицать. Действительно, если бы не переводчики, не было бы и меня.

Они, во-первых, дали мне возможность узнать Гейне, Бернса, Шекспира, Саади, Сервантеса, Гёте, Диккенса, Лонгфелло, Уитмена и всех, кого я прочитал в своей жизни и без кого я не стал бы писателем.

Они, во-вторых, открыли дорогу моим стихотворениям. Они перевели их через бурные реки,

через высокие горы, через толстые стены, через пограничные посты и через самые прочные границы — через границы другого языка, — через глухоту, через слепоту, через немоту.

Я спрашиваю иногда себя, что важнее — чтобы переводчик знал мой язык (но, может быть, ему чужда моя поэзия) или чтобы он знал и понимал мою поэзию своей душой, своим сердцем и считал ее как бы своей?

В 1937 году в Махачкале проводился конкурс на лучший перевод стихотворения Пушкина «Деревня». Сорок поэтов перевели это стихотворение на аварский язык. Большинство из них знало русский. Но все же первую премию получил Гамзат Цадаса, не владевший в то время русским языком.

Надо, чтобы переводчик тоже был поэтом, писателем, художником. Надо, чтобы он чувствовал себя сыном своего народа, как я чувствую себя сыном своего.

Есть русские люди, которые умеют читать по-аварски, но они, увы, не поэты. И есть русские поэты, которые, увы, не умеют читать поаварски. Как же быть? Что делать? Приходится обращаться к подстрочнику.

Я видел, как в русских деревнях перевозят из одной деревни в другую бревенчатые дома. Избу нельзя перевезти целиком. Ее сначала разбирают по бревнышку, по планочке, а потом собирают на новом месте.

Подстрочник — это изба, разобранная для перевозки. Это — груда бревен, досок, кровельного железа, кирпича. Переводчик из этой бесформенной груды собирает новую избу. Если бревно подгнило, он его заменит, если доска потерялась в дороге, он поставит новую доску. Если обломались узоры у резного наличника, он подновит узор.

И протрут оконные стекла, и разведут в печи огонь, чтобы дымок шел из трубы, и ребятишки выбегут на крыльцо, и под застрехой заведутся ласточки.

Что такое подстрочник? Человек, у которого погасли зрачки и остановилось сердце. Но приходит врач, делает укол, переливает кровь, массирует сердечную мышцу, и в человеческое тело возвращается теплая жизнь.

Что такое подстрочник? Кумуз, у которого на время спущены струны. Очаг, в котором на время погашен огонь. Птица, у которой на время подрезаны крылья.

Что такое подстрочник? Один парикмахер подстриг, побрил меня, уложил мне волосы и сказал:

— Ну вот, пришел ты ко мне как подстрочник, а уходишь как перевод.

Если уж речь зашла о парикмахерской, расскажу еще один случай.

Это было на Кубе, в городе Сантьяго. С дороги я решил подстричься и побриться. Я зашел в парикмахерскую и знаками показал, что мне нужно.

На Кубе, когда бреют, тебя укладывают в кресло, как в кровать. Уложили и меня. Начали намыливать. И все шло хорошо, пока бритва кубинца не коснулась моей щеки. То ли бритва была очень тупа, то ли мастер был плох, но я едва не кричал от боли. Некоторое время я терпел, но потом понял, что все равно не вытерпеть до конца, и, говоря то по-русски, то по-аварски, начал показывать себе на щеки. Парикмахер испугался, убежал и вскоре возвратился, ведя человека в белом халате. Человек раскрыл свой чемодан и начал раскладывать инструменты, которыми выдирают зубы. Вместо кресла брадобрея я вдруг очутился в кресле дантиста. Вот что произошло из-за того, что мы с парикмахером не поняли друг друга. Еще бы немного, и я лишился бы своих здоровых зубов.

Переводчики частенько выдирают у стихотворения все зубы и пускают гулять его по свету с пустым, шепелявым ртом.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Когда уезжаешь за границу, берешь какие-нибудь национальные изделия для того, чтобы подарить кому-нибудь в благодарность за гостеприимство. В Японию я взял, например, несколько красивых кувшинов, сделанных искусными руками балхарских мастеров.

В Хиросиме ко мне в гости пришли японские художники — муж и жена. Мы долго беседовали и почувствовали себя друзьями. «Кому, как не художникам, подарить художественные балхарские изделия», — подумал я. Смело я открыл свой чемодан и ужаснулся — от моих кувшинов остались одни черепки. Было похоже, что по ним колотили молотком, на такие мелкие части они рассыпались. Может быть, мой чемодан слишком небрежно швыряли грузчики на аэродроме в Москве, или на аэродроме в Индии, или на аэродроме в Токио — я не знаю. Но я готов был провалиться сквозь землю, ибо уже пообещал подарки и японцы сидели за столом в выжидательных позах и начали смотреть на меня с недоумением, потому что я как застыл над чемоданом, словно вкопанный, так и не мог ни пошевелиться, ни сказать слова.

Наконец мои японцы поняли, что стряслась какая-то беда. Они подошли. Увидели черепки. Покачали головами и начали меня утешать, похлопывая по плечу. Этот жест в другое время был бы недопустим для японцев, потому что они прекрасно воспитаны и не терпят фамильярности. Но, значит, очень уж я был огорчен и растерян.

Я собрал черепки в газету и хотел выбросить их в урну. Но художники не дали мне этого сделать. Они бережно завернули все до единого черепочка и унесли домой.

Через несколько дней я был приглашен к художникам в гости. Каково же было мое удивление, когда я увидел свои кувшинчики целыми и невредимыми, как будто они только сейчас с гончарного круга. Я до сих пор не могу понять, как можно было так ловко склеить разбитое вдребезги.

Говорят, треснутый кувшин целым не сделаешь, все равно из него будет вытекать вода. В кувшины, склеенные японцами, мы наливали и дагестанский коньяк, и японскую саке — не просочилось ни одной капли.

Глядя на японских художников, я вспоминал своих лучших переводчиков. Подстрочники моих стихов выглядели как черепки от разбитого кувшина. Потом их склеивали, и они получались как новые, и аварские узоры как ни в чем не бывало украшали их.

Конечно, переводчик не должен приделывать к кувшину ручку, которой у кувшина не было. Или вместо одного дна делать два.

Не так давно дагестанское издательство издало «Хаджи-Мурата» в новом переводе на аварский язык. Я стал читать и вижу, что «Хаджи-Мурат» стал на две главы длиннее. Я спросил у переводчика:

— Откуда взялись две главы?

— Но ведь Толстой написал эту повесть еще до Октябрьской революции. Там есть неправильные взгляды на вещи. Кроме того, нужно было рассказать читателям о дальнейшей судьбе головы Хаджи-Мурата и потомков Хаджи-Мурата.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Одно стихотворение отца перевели на русский язык. Переводчик, как видно, попался неопытный. Отец попросил человека, знающего и по-аварски и по-русски, снова перевести это стихотворение, рассказать его содержание. Когда это было сделано, отец воскликнул:

— Вернулся мой сын из далекого путешествия, и я не узнал своего сына. Нет, пусть уж лучше мои дети сидят дома в горах, чем попадать в такую переделку.

Да, переводы стихотворений похожи на сыновей, которых родители отправляют из аула учиться или работать. Конечно, в любом случае сыновья возвращаются немного не теми, какими покинули родное гнездо.

Но вернуться сын может либо приобретшим, либо утратившим, либо с дипломом, либо с судимостью, либо крепким физкультурником, либо хилым, больным, либо со славой ученого, либо со славой ловеласа, либо с дорогими подарками всем родным, либо без последних штанов.

И я свою книгу посылаю в далекий путь по большим городам, в люди. Как она будет вести себя в чужих местах? Изменит ли она своему народу, своей папахе?

Я понимаю, что плохой человек («яман»), сидящий на горе, не превратится в хорошего («якши») оттого, что спустится в долину. Поэтому я прошу того, кто будет переводить мою книгу: если она «яман», пусть останется таковой. Если я хром и слеп, не уводите меня под руки из моего дома, оставьте меня сидеть у моего очага, на моем пороге. Не лудите моей медной посуды, не золотите моего серебра!

АБУТАЛИБ РАССКАЗАЛ:

— У меня есть дочка и сын. Дочка воспитанная, дисциплинированная, примерная. А сын — сорванец и озорник. О дочке говорят по радио, пишут в газетах, ибо она ударница. На сына же каждый день приходят жалобы то из школы, то из милиции. Про дочь говорят, что ее воспитала школа, пионерская дружина, комсомол, страна. Про сына говорят, что его так дурно воспитал народный поэт Дагестана Абуталиб.

Услышав этот рассказ, я подумал: то же бывает с переводами стихотворений. Если переводы хорошие, хвалят автора, забывая того, кто перевел. Если переводы плохие, ругают переводчика, а имя автора стараются не поминать.

Нет уж, друг-переводчик, и за хорошее и за плохое давай отвечать вместе. У нас теперь одна арба на двоих. Давай ее толкать дружно, а не тянуть каждый в свою сторону. А то и арба и мы вместе с ней не сдвинемся с места.

Удивительное событие произошло как-то у нас. Большая гора вдруг стронулась и поползла вниз. Она остановилась недалеко от аула Мохоч, перегородив горную речку. Отары, чабаны, костры чабанов, шалаши чабанов мирно, без всякого вреда пропутешествовали вместе с горой. Теперь она стоит такая же, как была, но только около подножия ее образовалось озеро, а в озере развелась форель. Никто никогда не ездил на эту гору, пока она стояла на старом месте, а теперь вокруг нее всегда туристы, экспедиции, рыболовы, экскурсии школьников.

Пусть и моя книга пропутешествует в новый для нее язык без вреда. Пусть и она привлечет к себе потом людей, как гора невдалеке от аула Мохоч.

А впрочем, как говорят мусульмане, что на роду написано, тому и быть. Это, наверно, соответствует русской пословице: мы предполагаем, а бог располагает. Или еще короче: от судьбы не уйдешь.

КРИТИК. О нем писать труднее всего. Будешь ругать, подумают, что недоволен его критическими замечаниями и даже стараешься свести счеты. Будешь хвалить, подумают, что задабриваешь на будущее.

ОТЕЦ ГОВОРИЛ. Мы с критиком оба поэты. Я пишу стихи, а он пишет о моих стихах.

АБУТАЛИБ СКАЗАЛ одному дагестанскому критику:

— Я делаю вино из винограда, а ты мое вино пробуешь на вкус.

Я воздержусь от высказываний о критике, но несколько советов ему хотелось бы дать.

1. Плохое всегда называй плохим, хорошее называй хорошим.

2. Если похвалишь, то потом не ругай то же самое; если поругаешь, то потом не хвали.

3. Не старайся сделать из мухи слона, но еще менее тщись превратить слона в муху.

4. Говори о том, что в книге есть, а не о том, чего в ней нет.

5. Не призывай авторитеты, начиная с Белинского, чтобы утвердить и подтвердить свои мысли. Если эти мысли действительно твои, старайся утвердить их собственным разумом.

6. Ясные мысли выражай ясным и понятным языком. Неясные мысли не выражай вовсе.

7. Не будь флюгером, который колеблется вместе с ветром.

8. Не старайся внушить другим то, чего не понимаешь пока что сам.

9. Если у тебя в кармане нет ста рублей, то не притворяйся, будто ты их имеешь.

10. Если ты давно не был в родном ауле и не знаешь, как там идут дела, не утверждай, будто только что возвратился из родного аула.

Эти мои пожелания не новы. Они похожи на первую строку таблицы умножения. Однако если бы каждый критик их добросовестно исполнял, у нашей критики было бы куда больше достижений.

ЧИТАТЕЛЬ. Поговорил я с редактором, с издателем, с переводчиком, с критиком. Хочу сказать теперь несколько слов главному, для кого пишется всякая книга, — читателю.

Читатель, мой друг! У тебя, конечно, есть свои любимые книги. Есть они и у нас — писателей. Говорят, что самая главная книга писателя та, которую он еще не успел написать, но которую обязательно напишет. Не знаю, насколько это верно для всех других, но для меня — в самую точку.

Да, я давно мечтаю написать книгу о родной земле. Давно я вынашиваю замысел, но написать все никак не мог. Может быть — не хватает таланта, может быть — мешает ежедневная суета, может быть — не хватает терпения, может быть — не хватает смелости.

С годами увеличивается ответственность перед самим собой и перед читателем и рука не так отважно хватается за перо по каждому поводу. Книга о родной земле — самая ответственная из всех книг.

Книгу эту я еще не написал, но я много думал о ней и теперь хорошо знаю, какой она должна быть. Свои раздумья об этой книге — о главной книге моей жизни — я и решил запечатлеть на бумаге.

Это еще не черкеска, но материал для черкески. Это еще не ковер, но лишь нитки для ковра. Это еще не песня, но лишь то биение сердца, от которого песня должна родиться.

ГОВОРЯТ. Если ты даже не молился, но лишь подумал о том, что неплохо бы помолиться, то за одно это не попадешь в ад.

ГОВОРЯТ. Кунак кунаку чем богат, тем и рад. Если в сакле у кунака одна только буза, разве гость обидится, что его не угощают заморским вином, которого нет ни в сакле и нигде поблизости?

ГОВОРЯТ. Если даже ты не сделал ничего хорошего, спасибо за то, что собирался сделать.

Читатель, мой друг, каждая книга пишется для тебя. Я могу убеждать издателя, могу спорить с редактором, с критиками. Но только твой приговор — настоящий и последний. Он, как говорят судьи, обжалованию не подлежит.

Писатель живет только для встречи с тобой. Всей моей жизни сопутствуют три больших волнения. Сначала я волнуюсь перед встречей с тобой, в ожидании, в предположении, какой эта встреча будет. Потом я волнуюсь во время самой встречи, что естественно и понятно. Наконец, я волнуюсь после встречи, живя воспоминаниями о ней и стараясь себе представить, какое впечатление я произвел.

Я вижу разные лица читателей. Один наморщил лоб. Где же мне взять слова, чтобы разгладить эти морщины? У другого на лице мина, как будто в рот попало что-то неприятное, несъедобное. У третьего выражение скуки — самое страшное, самое безнадежное, что может быть.

У ГОРЦЕВ СПРОСИЛИ. Зачем вы строите свои аулы далеко, в труднодоступных горах? До вас почти невозможно добраться, да и опасно: эти тропинки над пропастями, эти горные осыпи и обвалы. Горцы ответили: «Хорошие друзья доберутся до нас и по плохим дорогам, пренебрегая опасностями, а плохие друзья нам не нужны».

Читатель, мой друг, мне сорок четыре года. В этом возрасте человеку можно поручать лю-

бые ответственные дела. В этом возрасте писатель должен отвечать за каждое свое слово.

Если в моей книге ты увидишь мысль, которая ночевала уже раньше в чьей-нибудь книге, выбрось ее из своего сознания, как когда-то в горах выбрасывали невесту после свадебной ночи, если она не сберегла до времени своей чести.

Если в моей книге ты найдешь верную мысль, подчеркни ее. Если же найдешь неверную — подчеркни дважды.

Если же ты обнаружишь хотя бы крупицу лжи, не медли, выбрось всю книгу целиком — она никуда не годится.

Расскажу на прощание еще одну притчу.

ПРИТЧА О БОГАТОМ ХАНЕ, О ЕГО СЫНЕ И О ХИНКАЛАХ ИЗ КУРДЮКА С ЧЕСНОКОМ. Некогда жил в Аваристане богатый хан. Трижды женился он в стремлении иметь сына, но ни одна жена не родила ему не только наследника, но даже дочери. Пришлось хану жениться в четвертый раз.

Скоро ли, долго ли, народился у хана сын. Радости не было конца. Били в барабаны, трубили в бубны, плясали, пели. Пировали три дня и три ночи.

Но недолго прожила радость в роскошном ханском дворце. Вскоре сын заболел, и никто не мог определить, что за болезнь. Какие бы колыбельные песни ему ни пели, он не спал. Какие бы яства ему ни давали, он не ел. И все видели, что дни его сочтены. Ни доктора из заморских стран, ни индийские талисманы, ни тибетские травы не могли излечить единственного наследника. А хан, наверно, не пережил бы его.

И вот пришел к хану простой бедняк из ближнего аула, которого никто не считал за человека. Он заявил, что знает средство и может спасти наследника. Приближенные хана хотели вытолкнуть бедняка, но хан их остановил. «Так и так сын умрет, — подумал хан, — отчего же не попробовать последнего средства».

— Что тебе нужно для того, чтобы спасти моего сына?

— Мне нужно побыть с твоей женой наедине.

— Как? Наедине?! С моей женой!! Да ты с ума сошел! Вон с моих глаз!

Бедняк повернулся и пошел, а хан подумал: «Так и так сын умрет. Какой мне будет вред, если он поговорит с моей женой с глазу на глаз».

— Эй, бедняк, воротись, мы передумали. Тебе разрешается говорить с моей женой.

Когда бедняк и ханша остались вдвоем, бедняк спросил:

— Ты хочешь, чтобы твой сын был жив и здоров?

Ханша вместо ответа упала на колени.

— Тогда скажи: кто его настоящий отец?

Глаза ханши забегали из стороны в сторону.

— Не стесняйся. Наш разговор мы унесем в могилу. А иначе сын не выживет.

— Хан очень хотел сына. Я знала, что если не рожу, то меня прогонят, как прогнали уже других. И вот я поехала в горы и спала там с простым молодым чабаном, и после этого родился наследник...

— О высокий хан, — возвестил лекарь после этой беседы. — Я знаю средство, которое спасет твоего сына. С этой минуты его колыбель должна стоять около костра, подобного тому, какой разводят чабаны в горах. Постлать ему в колыбель нужно овечью шкуру, а кормить его нужно только пищей, которую едят твои чабаны.

— Но... они едят хинкалы из жирного курдюка с чесноком. Как же может мой наследник... годовалый ребенок...

Бедняк повернулся и пошел. «Так и так сын умрет», — подумал хан и велел принести блюдо с хинкалами.

Ханша сама взялась готовить еду. Она готовила хинкалы так, как готовила их тогда в горах молодому богатырю перед той ночью, лучшей из всех ее ночей. Она поставила деревянное блюдо перед сыном так же, как поставила тогда блюдо перед чабаном.

Хинкалы были большие и круглые, как булыжники. Вареные курдюки источали жир. Отдельно в кувшине была подана родниковая горная вода.

Как только запах чеснока и вареного жира коснулся ноздрей наследника, он открыл глаза и поднялся, воспрянул и вдруг обеими ручонками схватил самый большой хинкал. С этого мгновения сила отца начала переливаться в ребенка. Он пожирал хинкалы, как оголодавший лев. Он рос не по дням, а по часам и вскоре превратился в стройного здорового молодца. От болезни, конечно, не осталось и следа.

Может быть, и не было такого случая на самом деле, но я знаю одно: когда литература перестанет питаться пищей своих отцов, а перейдет на иные, изысканные заморские блюда, когда она переменит нравы и обычаи, язык и характер своего народа, когда она изменит им, она захиреет и зачахнет, и не помогут ей никакие лекарства.

На этом, пожалуй, я закончу. Начал в теплое летнее время, а теперь уж зябкая осень. Начал в горном ауле, а точку ставлю в большом многолюдном городе. Ранним утром вывел пе-

вую строку, а теперь близится полночь и даже в городе гаснут все огни.

Я возвращаюсь из далекого странствия. Я спешился на краю аула. Я провел коня в поводу по длинной изогнутой улице. Теперь лучше всего расседлать коня и похлопать его по шее, отпустить на широкую поляну.

А сам я, пожалуй, присяду у огонька. Пожалуй, достану сигарету и закурю. Говорят, что сам аллах закуривает, когда кончит рассказывать своим приближенным какую-нибудь забавную историю или выскажет очередное нравоучение. Он закурит, затянется и подумает.

Подумаем и мы тоже. Не каждая дорога оканчивается счастливо. Не каждая новая книга выходит удачной. На новом рассвете начну новую книгу, соберусь и в новый путь.

А пока что я устал в пути. Я заворачиваюсь в бурку и ложусь спать. Спокойной ночи, добрые люди! С миром начал, с миром и кончил. Васалам, вакалам. Амины!

Перевел с аварского Вл. Солоухин

Расул Гамзатович Гамзатов

МОЙ ДАГЕСТАН

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ

Редактор Г. ПОЛИТЫКО

Художественный редактор *Г. Андронова*

Технический редактор *Л. Платонова*

Корректоры *Р. Андрианова* и *Е. Патина*

Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 6/V 1968 г. Подписано к печати 14/VI 1968 г. А 05255. Бумага 84 × 108 1/16. 6 печ. л. 10,08 усл. печ. л. 11,85 уч.-изд. л. Заказ № 1836. Тираж 2 100 000, 4-й завод: 1 650 001—2 100 000 экз. Цена 24 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Гатчинская, 26

Отпечатано в типографии «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16. Заказ № 1535.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. Иллюстрации М. Башилова. Послесловие С. А. Макашина. М. 1968. 544 стр. 1 р. 80 к.

Рабиндранат Тагор. Лирика. Перевод с бенгальского. («Сокровища лирической поэзии»). Вступительная статья Е. Винокурова. М. 1967. 136 стр. 31 к.

Микола Упеник. Земные орбиты. Стихи. Авторизованный перевод с украинского. Вступительная статья М. Матусовского. М. 1968. 150 стр. 52 к.

Маргита Фигули. Вавилон. Роман в двух книгах («Библиотека исторического романа»). Книга первая. Перевод со словацкого И. и Ю. Богдановых. Предисловие Ю. Богданова. М. 1968. 408 стр. 1 р. 32 к.

Книга вторая. Перевод со словацкого И. Иванова. М. 1968. 366 стр. 1 р. 19 к.

Виктор Финк. Литературные воспоминания. М. 1968. 296 стр. 65 к.

Г. Фридлендер. — К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы. Издание второе. М. 1968. 606 стр. 1 р. 56 к.

24 к.

70782

ИХЛ